

Владимир  
Набоков



CoRpus

*Переводы*

Николка Персик

Аня в Стране чудес

Набоковский корпус

Льюис Кэрролл

**Николка Персик.  
Аня в Стране чудес**

«Издательство АСТ»

1918, 1865

УДК 821.111-3(73)  
ББК 84(7Coe)-44

**Кэрролл Л.**

Николка Персик. Аня в Стране чудес / Л. Кэрролл —  
«Издательство АСТ», 1918, 1865 — (Набоковский корпус)

ISBN 978-5-17-145130-1

Настоящее издание составили две переведенные Владимиром Набоковым в 1920–1923 гг. книги: «Николка Персик» («Кола Брюньон») Ромена Роллана и «Аня в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. С детства владевший французским и английским, Набоков в начале своей писательской карьеры взялся за два одинаково сложных для перевода произведения и показал виртуозное владение русским языком, сумев воспроизвести игру слов, образный ряд и стихи оригиналов. В этом отношении переводческие опыты будущего автора «Дара» и «Ады» обнаруживают зачатки его изощренного литературного стиля. «Николка Персик» стал, по-видимому, первым русским переводом «Кола Брюньона», в то время как «Аня в Стране чудес» была признана одним из лучших переводов «Алисы» на русский язык. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.111-3(73)  
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-145130-1

© Кэрролл Л., 1918, 1865  
© Издательство АСТ, 1918, 1865

## Содержание

От редактора	6
Ромен Роллан. Николка Персик (Colas Breugnon)	11
Предисловие автора	12
Жаворонок в Сретенье	13
Осада, или Пастух, волк и овечка	19
В гостях у попа	29
Праздный весенний день	37
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# **Льюис Кэрролл, Ромен Роллан**

## **Николка Персик. Аня в Стране чудес**

Russian translation of COLAS BREUGNON by Romain Rolland

Translation copyright © 1922, Vladimir Nabokov

All rights reserved

Russian translation of ALICE IN WONDERLAND by Lewis Carroll

Translation copyright © 1923, Vladimir Nabokov

All rights reserved

© А. Бабилов, составление, редакторская заметка, примечания, 2023

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023 Издательство CORPUS ®

## От редактора

Первой опубликованной Владимиром Набоковым в Берлине книгой стал перевод французской повести Ромена Роллана (1866–1944) «Кола Брюньон» (1919). В июне 1920 г., приехав из Кембриджа на каникулы к родителям в Лондон, он как-то заговорил с отцом о тех трудностях, которые ждут переводчиков нового сочинения Роллана, – «стилизованного, написанного сочным раблезианским языком романа»<sup>1</sup>. Набоков-старший, по-видимому, полагал, что частая игра слов, просторечные обороты, архаизмы, ритмически организованные пассажи и местные французские названия по-русски непередаваемы. Начинающий автор «заключил с отцом пари, что сможет перевести книгу, сохранив ритм и рифмы оригинала. Он не был высокого мнения о Роллане как о писателе, и в этой работе его привлекала лишь сама сложность задачи, возможность испытать себя»<sup>2</sup>.

По договору с берлинским издательством «Слово» готовый перевод следовало предоставить к началу 1921 г., однако работа продвигалась медленно. 1 ноября 1920 г. В. Д. Набоков писал сыну:

Что мне сказать по поводу Rolland? Раз Ты предпочитаешь от 6 до 7 ½ перси Персику – положение, очевидно, безнадежное. Я только говорю одно: к 1 января перевод должен быть кончен, иначе я Тебе дам свое отцовское проклятие. Распределение Твоего дня на меня произвело потрясающее впечатление. Одно можно сказать: опасность умственного переутомления Тебе как будто не угрожает, хотя, конечно, 2 часа умственного труда в день – это страшно много<sup>3</sup>.

К началу марта следующего года перевод все еще не был закончен. 23 февраля 1921 г. Набоков писал матери из Кембриджа:

Дорогая мамочка,  
гавань видна: когда я приехал сюда, переведено было только 110 страниц (я малодушно это скрыл). Здесь же я перевел еще 130, и таким образом осталось 60, – как раз успею<sup>4</sup>.

Наконец работа была сделана, но к тому времени издательство, по-видимому, решило перенести задержанную книгу на следующий год: 29 апреля 1921 г. Набоков с некоторой тревогой спрашивал родителей: «Как обстоит дело с “Colas Breugnon”? Неужели мой труд пропал даром? Напишите»<sup>5</sup>. Издательство приступило к подготовке гранок только в начале 1922 г.

С 29 августа 1922 г. в газете «Руль» начали печататься отрывки из перевода (еще не имевшего русского названия), которым был предпослан следующий редакционный анонс:

Книгоиздательство «Слово» заканчивает печатанием перевод блестящего произведения Ромэна Роллана «Colas Br<e>ugnon». Значение и сущность этого произведения выясняются из приводимого предисловия самого автора. Перевод сделан обратившим на себя внимание талантливым

---

<sup>1</sup> Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография / Пер. Г. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 210. (Здесь и далее, если не указано иное, – прим. ред.)

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Houghton Library (Cambridge, Mass.) / Vladimir Nabokov papers. Box 12. Fol. 215.

<sup>4</sup> The New York Public Library. W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature / Vladimir Nabokov papers / Letters to Elena Ivanovna Nabokov.

<sup>5</sup> Там же.



молодым поэтом Вл. Сириным и представляет по своей художественной форме и точности выдающуюся литературную заслугу<sup>6</sup>.

Изданный в ноябре 1922 г. «Николка Персик» стал одной из двух первых русских версий французской повести: вторая вышла в том же году в петроградском издательстве «Всемирная литература» («Кола Бренъон», перевод М. А. Елагиной под редакцией Н. О. Лернера). Лишь десять лет спустя появился новый русский перевод повести, созданный М. Л. Лозинским («Кола Брюньон», 1932).

Рассматривая первый большой переводческий опыт молодого Набокова, стилистически неровный и технически несовершенный, следует помнить, что ему пришлось самостоятельно проделать немалую изыскательную работу, поскольку он не имел возможности пользоваться пояснениями или комментариями, которые появились позднее. Основные источники и композицию повести Роллан охарактеризовал в «Примечаниях Брюньонова внука» лишь в 1930 г.; они были включены, вместе с авторскими пояснениями, которыми пользовался Лозинский, в советское издание 1932 г.:

Я задумал эту галльскую поэму в апреле – мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет», или «Жив курилка». <...> Затем, в начале 1914 года, я обратился с предложением напечатать «Кола» к «Ревю де Пари» <...> Но, к моему изумлению, мой старый учитель оказался весьма смущен вольностью этого произведения. Он не решался представить непочтительного Кола своей чопорной аудитории. <...> Что касается строения книги, то его легко увидеть и без очков. Оно следует ритму Календаря природы, по которому я жил среди полей, промеж двух белых январей. Книга эта питалась кламсийскими летописям, неверскими преданиями, французским фольклором и сборниками галльских пословиц, которые суть мое евангелие и мое «Поэтическое искусство». Я утверждаю и посейчас, что в любом их мизинце больше мудрости, остроумия и фантазии, чем во всем Аруэ<sup>7</sup>, Монтене и Лафонтене. (А я их люблю, этих трех братьев!)

Надо ли добавлять, что, когда я был ребенком, в клетке моей не умолкал старый голос, насмешливый и веселый <...> старой Розалии из Бевронского предместья, – которая часто мне рассказывала, как Кола своей Глоди, сказку про Утенка и про Ощипанного цыпленка. Ее крутой язык, голый, без фигового листка, с бургундской солью, не многим отличался, в своем свежем архаизме, от языка моего Кола. И я отчасти в ее честь избрал рубеж двух столетий, шестнадцатого и семнадцатого, где новизна и старина делят ложе; ибо от этого сладостного брака родилась речь, крепкая, задорная речь моей старой рассказчицы.

Имя Brugnon (или Breugnon), – а это, как всем известно, название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса, – до сих пор живо в окрестностях Кламси <...><sup>8</sup>

Советский исследователь русских версий повести в отношении переводческого подхода Набокова пришел к следующим наблюдениям:

Владимир Сирин переводит текст в основном средней невыразительной общелитературной лексикой со слабой разговорной окраской. Преобладают

---

<sup>6</sup> «Colas Br<e>ugnon» // Руль. 1922. 29 августа. С. 2–3.

<sup>7</sup> Настоящее имя Вольтера Франсуа-Мари Аруэ.

<sup>8</sup> Роллан Р. Примечания Брюньонова внука // Собр. соч.: В 14 т. / Под общ. ред. И. Анисимова. М., 1956. Т. 7. С. 207–210. Пер. М. Лозинского.

сочетания слов, принятые обычно в книжном стиле. По языку перевода Сирина не видно, что персонажи повести представляют низшие плебейские слои французского народа. <...> Все же порой Сирин как бы спохватывается и замечает, что текст нуждается в «сочных» народных словах и выражениях. Однако в качестве народной лексики он привлекает либо слова <...> выпавшие из обихода, либо областнические, либо вульгарные, как, например, горюше, горынские замыслы, потекли в путь, вертоград, весенницы, господине (звательный падеж), подгрызаны, кухарь, тенетница, околоток, вестимо, меня гадует, знахарить, гультай, поленичек-подкидыш, сластущечка <...> и т. п.

Искусственны и псевдонародны употребляемые им якобы просторечные метафорические обороты: подлый петушок; горшок с горчицей (брань); раздавливая зады о перила; освежаешь рыло в соседнем кабаке; облизывал стакан взглядом и языком; ушли мы, дурни, зады торжественные; этот требух, пузогной; роскошно скучают; ум не однорукий; потом перешли на галушки шипучие <...>.

Рифма в переводе передается редко, носит случайный характер. Зато Сирин старается воспроизвести возникающую временами в подлиннике ритмическую организованность речевого потока (правда, тоже не всегда). Ритм Сирин не мыслит помимо метрической упорядоченности. Он членит речь на отрезки, соизмеряемые по числу ударений (акцентный стих) и порою тяготеющие к однообразной стопной размеренности. <...> В итоге применяемый Сириным прием превращает лирические пассажи повести в высокопарно-напыщенные, резко противопоставляет их другим частям текста. Стилистическое единство повести рушится, цельность образа Кола Брюньона распадается<sup>9</sup>.

Эти выводы по большей части верны, однако справедливости ради следует заметить, что друзья и собеседники Персика, священник и нотариус, как и он сам, ваятель и резчик по дереву, торгующий, кроме того, предметами искусства, не относятся к «низшим плебейским слоям французского народа». Нельзя согласиться и с тем, что Набоков перевел повесть «в основном средней невыразительной общелитературной лексикой со слабой разговорной окраской» — довольно приведенных самим исследователем примеров разговорных форм, архаичных слов и оборотов, чтобы убедиться в обратном.

Эмигрантский критик и театральный режиссер, будущий постановщик набоковской пьесы «Человек из СССР» (1927) Юрий Офросимов, откликнувшись на публикацию набоковского перевода поощрительной рецензией, в свою очередь не мог не отметить некоторых его недостатков:

Радостная книга о Николае <sic!> Персике, и радостен, свеж перевод ее; на русский язык особенно трудно, казалось бы, передать всю эту игру слов, подчас рифмованную; порою — почти ритмическую прозу; весь характер этого старческого болтливости говора. Дух повести хорошо, сочно сохранен Вл. Сириным, иные словечки удачно заменены соответственно найденными малоупотребляющимися русскими. Но все же порою возникают недоумения: зачем, например, такая притянутая, упорная русификация в именах: Глаша, Марфа <...><sup>10</sup>. Иногда тяжеловата расстановка слов <...> но, думается, все эти

<sup>9</sup> Шор В. «Кола Брюньон» на русском языке // Мастерство перевода. Сборник седьмой. М., 1970. С. 225–226.

<sup>10</sup> Некоторые примеры русификации имен в переводе Набокова отражены в наших примечаниях к настоящему изданию.



недостатки только досадные обмолвки. Стилъ и дух книги переданы, повторяю, очень удачно, местами – блестяще<sup>11</sup>.

Современный исследователь в своем анализе «Николки Персика» пришла к мнению, что Набоков не уступает Лозинскому в передаче стихотворных строк и в изобретении каламбурных эквивалентов: «Когда русский язык позволяет ему использовать звуковой прием, он может как сохранить каламбур или шутку, так и подыскать дополнительные созвучия и аллитерации, чтобы компенсировать те, которые были утрачены в другом месте»<sup>12</sup>.

В России «Николка Персик» был впервые переиздан в 1999 г. в первом томе собрания сочинений Набокова «русского периода» (СПб., «Симпозиум»). Настоящее издание подготовлено по тексту первой и единственной прижизненной публикации 1922 г.

Второй переводной книгой Набокова стала «Алиса в Стране чудес» (1865) Льюиса Кэрролла (1832–1898), вышедшая весной 1923 года<sup>13</sup> в берлинском издательстве «Гамаюн» под названием «Аня в Стране чудес» и с рисунками художника С. Залшупина. В «Других берегах» Набоков вспоминал, что в 1922–1937 гг. в Берлине «Много переводил – начиная с “Alice in Wonderland” (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов»<sup>14</sup>. Перевод «Алисы», однако, нельзя было назвать рутинной переводческой работой ради заработка – он оказался не только отличным упражнением для развития собственного писательского стиля Набокова, но и довольно неожиданно послужил ему – двадцать лет спустя – основанием для получения места лектора в американском колледже Уэллсли.

«Приключения Алисы в Стране чудес» до Набокова несколько раз переводились на русский язык, начиная с анонимного перевода-пересказа 1879 г. под названием «Соня в царстве дива». Как и первый русский переводчик, Набоков избрал для героини русское имя и опустил стихотворное вступление (к близким Набокову русским версиям «Алисы», включающим вступление Кэрролла, можно отнести переводы П. С. Соловьевой 1909 г. и А. А. Д’Актиля 1923 г.)<sup>15</sup>.

Вскоре после выхода набоковского перевода в берлинской газете «Руль» появилась следующая короткая рецензия:

«Alice in Wonderland» – после Библии, вероятно, самая популярная книга в Англии. Нельзя себе представить английского ребенка, который не спускался бы вместе с любопытной девочкой Алисой в волшебную страну чудес. Дети любят эту книгу не только из-за ее мягкого юмора и захватывающей напряженности фабулы, но и потому, что автор умело собрал в ней, так сказать, духовный инвентарь среднего английского ребенка. В ней появляются любимые и знакомые герои английских сказок, в ней приведены в забавных пародиях классические английские песенки, стихотворения, поговорки, кусочки из школьных воспоминаний и т. п.

Эти особенности книги делают ее чрезвычайно трудной для перевода, с которым мог справиться только человек, не только хорошо знающий

<sup>11</sup> Офросимов Ю. Николка Персик. Роман Р. Роллана, перев. В. Сирина. (И-во «Слово», Берлин, 1922) // Руль. 1922. 19 ноября. С. 9.

<sup>12</sup> Beaujour E. K. Nikolka Persik // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. E. Alexandrov. N. Y. & L., 1995. P. 559.

<sup>13</sup> Объявления о поступлении книги в продажу появились в газете «Дни» (Берлин) в марте 1923 года.

<sup>14</sup> Набоков В. Другие берега. АСТ: Согрус, 2022. С. 289.

<sup>15</sup> Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес / Перевод Allegro [П. С. Соловьевой]. СПб.: Издание журнала «Тропинка», 1909. Carroll L. Алиса в Стране чудес. Переработал для русских детей А. Д’Актиль. М. – Петроград: Издательство Л. Д. Френкель, 1923.

английский язык, английскую жизнь и английскую литературу, но и свободно владеющий русской прозой и стихом. В данном случае переводчик удовлетворяет обоим этим требованиям. Чувствуется, что ему пришлось немало поработать по приспособлению английского текста к понимаю маленьких русских читателей. Ему это особенно удалось в переводе – вернее, в самостоятельном сочинении – стихов, помещенных в книге. Вл. Сирин стремился русифицировать все английские названия и собственные имена. С этой точки зрения напрасно оставлены такие названия животных, как Дронг, Лори, Гри<ф>.

Книге можно пожелать самого широкого распространения<sup>16</sup>.

Интерес к набоковскому переводу возродился лишь во второй половине 1970-х гг., после его переиздания в «Ардисе». Перед тем, в 1970 г., вышла статья американского слависта русского происхождения Саймана (Семена) Карлинского, назвавшего версию Набокова «одним из лучших переложений “Алисы” на любом языке» и «лучшим переводом на русский»<sup>17</sup>. На это Набоков возразил, что «Карлинский слишком добр к моей “Ане”» и что «удачны в ней только стихи и игра слов»<sup>18</sup>.

С точки зрения феноменального будущего двуязычия Набокова и опытов сочинения на французском языке, его литературная карьера зачиналась по идеальной схеме, в которой английский, французский и русский языки равноправны, послушны и взаимообогащаемы, а проза свободно сочетается с поэзией. Двумя этими ранними переводами он определил границы не только своей последующей переводческой работы, но и характер собственной писательской манеры – склонность к межжанровым экспериментам, к игре слов, изысканной фразировке, к литературным и историческим аллюзиям, которыми изобилуют книги Кэрролла и Роллана.

«Николка Персик» печатается по тексту первого издания с сохранением особенностей авторской транслитерации и с исправлением замеченных опечаток.

«Аня в Стране чудес» дважды переиздавалась репринтным способом: в 1976 г. в нью-йоркском «Dover Publications» (с английской заметкой от издательства) и в 1982 г. в «Ардисе» (Анн-Арбор). Печатается по второму изданию с исправлением опечаток и приведением некоторых слов к современному написанию. Конъектуры даны в угловых скобках.

---

<sup>16</sup> В. <Рец.> Л. Карроль. Аня в Стране чудес. Пер. с англ. В. Сирина с рисунками С. Залшупина. Изд-во Гамаюн, Берлин. 1923 // Руль. 1923. 29 апреля. С. 11.

<sup>17</sup> *Karlinsky S. Anya in Wonderland: Nabokov's Russified Lewis Carroll // Nabokov. Criticism, reminiscences, translations and tributes / Ed. by A. Appel, Jr. & Ch. Newman. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. P. 314.*

<sup>18</sup> *Nabokov V. Strong Opinions. N. Y., 1990. P. 286.*

## **Ромен Роллан. Николка Персик (Colas Breugnon)**

*Святому Мартыну Галльскому, покровителю города Клямси*

*Святой Мартын и пьян, и сыт всегда.  
Пускай под мельницей бежит вода...*

*Поговорка XVI века*

Перевел с французского Владимир Сирин

## Предисловие автора

Читатели романа «Jean-Christophe»<sup>19</sup>, вероятно, не ожидают новой этой книги. Она удивит их не более, чем удивила меня.

Готовил я иные произведения – драму и роман на современные темы, в несколько мрачном духе «Jean-Christophe». Мне пришлось внезапно отложить набросанные заметки ради беспечного произведения, о котором я и не думал накануне.

Оно как бы порыв свободы, после десятилетней неволи в броне «Jean-Christophe», которая, хоть сперва и была мне в меру, впоследствии стала слишком узка. Я почувствовал непреодолимую потребность в вольном галльском веселии, да, вольном до дерзости. К тому же возврат на родное пепелище, которого я не посещал с детства, снова сблизил меня с краем моим, с нивернейской Бургундией, и разбудил в душе целое прошлое, уснувшее, думал я, навеки, – всех Николок Персиков, таящихся во мне. Пришлось мне за них говорить. Проклятые эти болтуны еще не наговорились в жизни своей! Воспользовались они тем, что у одного из их правнуков оказалась счастливая способность писать (они часто мечтали о ней!), чтобы взять меня в письмоводы. Тщетно я уклонялся:

– Вы, дедушка, достаточно болтали на веку своем. Дайте и мне поговорить. Теперь мой черед!

Они возражали:

– Малыш, ты говорить будешь после. Начнем с того, что у тебя нечего рассказывать более занимательного. Садись, слушай, ни слова не пропусти... Ну-ка, внучек, сделай это ради меня, старика! После ты сам поймешь, после, когда будешь на месте нашем... Самое-то горькое в смерти – это, видишь ли, молчание...

Что поделаешь? Пришлось мне уступить, писать под диктовку. Ныне кончено, и вот я снова свободен (по крайней мере, я так полагаю). Примусь опять за прерванную нить собственных мыслей, если только иной из старых болтунов моих не вздумает снова из гроба встать, чтобы воспоминания свои передать потомству.

Не смею думать, что общество моего Николки столько же развлечет читателей, сколько развлекало автора. Пусть они все же берут книгу эту как есть, в ней есть круглота, прямота, не норовит она изменить или объяснить мир, ни политики, ни метафизики в ней нет, это книга чисто французская, что смеется над жизнью, потому что любит ее и чувствует себя прекрасно. Одним словом, как говорит Орлеанская дева (не обойтись без ее имени в заголовке галльского рассказа), друзья, «prenez en gré»<sup>20</sup>, – не взыщите.

*Май 1914 г.*

---

<sup>19</sup> «Жан-Кристоф» (опубл. 1904–1912), десяти томный роман Р. Роллана, названный Набоковым в «Лолите» (1955) посредственным.

<sup>20</sup> Примите с покорностью (*фр.*). Жанна Д'Арк поведала своим судьям перед казнью, что слышала голоса святых, сказавших ей: «Prends tout en gré» («Принимай все как есть»).

## Жаворонок в Сретенье

2 февраля

Слава тебе, святой Мартын! Дела не идут. Не стоит из сил выбиваться. Достаточно я поработал в жизни своей. Пора поразвлечься немного. Вот сижу у стола, справа – кружка вина, слева – чернильница; тут же тетрадь, новая, чистая, мне раскрывает объятия. За здоровье твое, дружок, – и давай побеседуем! Внизу, в доме, бушует моя жена, на дворе – зимний ветер дует. Говорят, будет война. Как радостно снова быть вместе, друг против друга, голубок ты мой, толстячок! (Тебе говорю, тебе, – рожа радужная, любопытная, рожа веселая, с длинным бургундским носом, посаженным криво, словно шапка ухарская...) Но что означает, скажи мне, пожалуйста, эта странная радость, – отчего мне так любо склоняться в одиночестве зорком над своим старым лицом, беспечно блуждать по морщинам его, и, как из пьяных бочек моих (да ну их!), без передышки тянуть, в погребке сердца, вино старое воспоминаний? Еще можно, пожалуй, так грезить, но писать, о чем гредишь, – зачем! Грезить, – сказал я? Нет. У меня широко ведь открыты глаза, глаза кроткие и насмешливые, у висков в морщинки собранные. Пусть тешат других пустые мечтанья! Я же передаю только то, что сам видел, что сам говорил и делал... Не безумье ли это? Для кого я пишу? Уж конечно, пишу не для славы; я не темная тварь, знаю я цену себе, слава Богу! Для кого же? Для внуков своих? Но пройдет десять лет, и что от тетради останется? Ревнива старуха моя, – что находит она, то сжигает. Для кого же, ответь наконец? Ну так вот: для себя! Лопну я, коль не буду писать. Недаром я внук своего кропотливого деда, который не мог бы уснуть, не отметив пред тем, чтобы лечь, сколько кружек он выпил и сколько сбил. Говорить, говорить я хочу, а в своем городке, на ристаньях словесных, не могу развернуться как следует. Все я высказать должен, – и подобен я в том брадобрею Мидаса<sup>21</sup>. У меня слишком длинный язык. Если порою подслушают, мне не избежать костра. Но что же поделаешь! Будешь бояться всего – задохнешься от скуки. Люблю, как громадные белые волы, – пережевывать вечером пищу дневную. Как приятно потрагивать, щупать, поглаживать все, что за день ты поднял, приметил, подумал; как приятно облизывать, долго вкушать (так, чтоб таяла сладость на языке), смаковать бесконечно все то, чем еще не успел насладиться, все, что жадно ловил на лету! Как приятно дозором свой маленький мир обходить и себе говорить: я им владею. Здесь я хозяин и князь. Ни морозы, ни бури не тронут его. Ни король, ни Папа, ни враг. Ни даже старуха моя брюзжащая.

Итак, перечислим теперь все, что есть в этом мире.

Во-первых: самое лучшее из всего, что принадлежит мне, конечно, – он, Николка Персик, добрый малый, да бургундец, круглый нравом и брюшком, – и хоть юности не первой (что таить – шестой десяток!) – крепче дуба, целы зубы, взор – что свежая плотва, – и, сидя потихоньку, не лысеет голова. Не скажу, что, будь она белокурой, вид ее мне бы не нравился, не утверждаю также, что если бы вы предложили мне помолодеть на двадцать или тридцать лет, – я с отвращением бы отвернулся. Но все же целых десять пятисвечников – прекрасная вещь!

Смейтесь, смейтесь, юнцы. Не всякий, кто хочет, доходит до этого. Шутка ли сказать, – в продолжение полвека по всем я скитался дорогам французским, да в смуту еще... Боже! Как в спину нас жалили, друже, и зной и дожди! Нас природа то печь принималась, то мыть... И

---

<sup>21</sup> Имеется в виду греческий миф о царе Мидасе, который был судьей на музыкальном состязании Аполлона с Паном и признал первого побежденным. За это Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые царю приходилось прятать под фригийской шапкой. Цирюльник Мидаса, мучаясь тайной, которой ни с кем не мог поделиться, вырыл ямку в земле и шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши!» – и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник, который прошелестел о тайне всему свету.

пекла же, и мыла же. Я – старый, смуглый мешок; чего только в него не совал я! На, выложи: горести, радости; тайные хитрости, жизненный ветер и жизненный опыт; солома и сено; виноградные гроздья и смоквы; много сладких плодов и немало зеленых; розы и плевелы; тысяча разных вещей, виденных, читанных, впитанных, – и пережитых. Все это кое-как свалено, спутано. Разобрать хорошо бы... Стой! Куда ты, Николка? Разберемся мы завтра. Если сегодня начну, никогда не dokonчу рассказа... Надо составить сперва краткий список товаров, которых я ныне хозяин. У меня есть дом, жена, сына четыре и дочь одна (слава Богу, замужем она), – один зять (нельзя было его не взять!), восемнадцать внучат, серый осел, пес, шесть кур да свинья. Вот как я богат! Напялим-ка очки, разглядим вблизи сокровища эти. Жена, дети – все так, но от дальнейшего осталось только воспоминанье. Войны прошли, прошли и друзья, и враги. Свинья просолена, осел сгинул, погреб выпит, курятник общипан. Но жена моя, но жена, – чорт<sup>22</sup> возьми – осталась она, осталась! Послушайте, как она орет. Ни на миг не могу позабыть свое счастье: она моя, моя, красавица эта, я – единственный обладатель ее. Эх, Персик, счастливый мерзавец! Тебе все завидуют. Так что ж, господа, хоть словечко скажите; отдаю, берите! Чем не хозяйка она? Женщина добрая, трезвая, честная – словом, все качества есть (только нечего есть, а я, грешный, признаюсь, что всем тощим добродетелям, вместе взятым, предпочитаю один пухленький порок... Впрочем, за неимением лучшего – будем добродетельны, так Бог велит). Ай, как она мечется, руками машет – Маша, угловатая наша! Весь дом наполняет телом своим долговязым, рыщет, хлопочет, рычит, бурчит, грохочет, гонит пыль и покой! Вот уже скоро тридцать лет, как мы вместе. Чорт его знает, – отчего так вышло. Я любил другую, та только смеялась надо мной. Она же именно меня хотела, хоть мне не нужно было от нее ничего. В те дни была она тонкая, матово-бледная, темноволосая, с угрюмо-острыми глазами, которые, казалось, могли меня съесть живьем и жгли меня, подобно тому, как две капли водки выедают сталь.

Она любила меня, любила любовью погибельной. Измученный этими преследованиями (как глупы мужчины!), быть может, из жалости, быть может, из гордости, но пуще всего потому, что был утомлен, решил я (подшутил, верно, бес), чтоб от этих нападков отделаться, решил я (как тот балбес, что, спасаясь от дождика, в воду полез) жениться на ней и – женился. С тех пор я у себя в доме содержу добродетель. И мстит же она мне, кроткое существо! Мстит за то, что любила меня. Она меня приводит в ярость, или, по крайней мере, так кажется ей. Но она ошибается. Я влюблен в свой покой и не так глуп, чтоб делать из ссоры повод для грусти. Идет ли дождь – я молчу. Гром ли гремит – свишу. Когда же кричит она – хохочу. И отчего бы ей не покричать? Неужто дерзаю я думать, что могу заставить молчать женщину эту? Где женщина – там и шум; а ведь смерти ее не хочу я. Она поет, и я пою: каждый из нас свою тянет песенку. Только бы не вздумалось ей заткнуть мне рот (она хорошо знает, как это дорого стоит). Ей же я позволяю щебетать. У каждого свои ноты.

Впрочем, хоть и не согласны струны наши, нам все же удалось исполнить несколько недурных вещей: одну дочь и четырех сыновей. Все они крепкие, гибкие: труда, материала на них я потратил немало. Однако только в одном из птенцов, в дочери Марфе, я узнаю сущность свою. Ах, ах, попрыгунья! Сколько понадобилось мне терпенья, чтоб до берега брака ее довести без крушенья. Наконец-то! Теперь-то она успокоилась, – и хоть довериться этому все же опасно, но не мне говорить, не мое это дело. Достаточно я провозился с ней, ночей не спал. Теперь твоя очередь, зять мой, пекарь Флоридор; пеки, опекай!.. Мы с дочерью спорим при каждой встрече, но зато мы друг друга исключительно хорошо понимаем. Она славная девушка; даже в беспечных порывах ее есть какая-то рассудительность, она честная, прямая – в ней качества эти улыбки, ибо худшим считает она недостатком, что скуку наводит. Она

<sup>22</sup> В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов «чорт», «Мэдон», «Клямси» и др.); слова «стеклянка», «шеколадный», «конфекты» приведены к современному написанию.

не боится невзгод: невзгоды ведь это борьба, а борьба ведь – отрада. И жизнь она любит. Она знает, что в жизни хорошего есть. Я тоже, то кровь моя в ней говорит... Только, пожалуй, я расточителен был, сотворяя ее.

Сыновья же вышли похуже. Жена на своем настояла, и тесто не встало. Из них двое – ханжи, и, к довершению всего, ханжество одного ненавидит личину другого. Первый все трется о черные юбки попов, лицемеров, второй – гугенот, сам черт не поймет, как случилось, что вывел я этих утят! Третий – бродяга-солдат, где-то скитается, где-то воюет, в точности где – я не знаю. А четвертый – ничего из себя не представляет, ровно ничего. Этаким торговый человечек, серенький, с душой овечьей, – ах, зеваю всякий раз, что вспоминаю о нем. Я породу свою узнаю, лишь когда мы сидим вшестером за столом, вооруженные вилками. За столом уж никто не спит, и во мнениях сходятся все. Это прекрасное зрелище: искусно работают челюсти, хлеб трещит, разрушается, в глотку вино, как в бездну поток, вливается.

Поговорим теперь о самом доме. Он тоже чадо мое. Я строил его медленно, по частям, и не раз перестраивал сызнова. Он расположен на берегу Беврона – ленивой, илистой, зеленой речки, – у входа в предместье, за мостом, что стоит, словно на четвереньках, над самой тиной. Напротив – башня св. Мартына, легкая, гордая, в платьице кружевном, да пестрый портал, да старинные ступени церковные, крутые и черные, ведущие, скажешь ты, в рай. Лачужка моя, игрушка, стоит вне стен городских: а потому всякий раз, что с башни приметят врага на равнине, город ворота свои запирает, и враг приходит ко мне. Хоть я и люблю побеседовать, однако сдаюсь мне, что без общества этого я бы вполне обошелся. Завидя врага, я чаще всего просто ухожу, оставляя ключ под дверью. По возвращении случается мне не найти ни ключа, ни дверей. Тогда я строю снова. Мне говорят: Тупоголовый! Ты работаешь на врага, Брось лачужку свою, под защиту стен залезь. –

Я ж в ответ:

Куралесь! Хорошо мне и здесь. Знаю я, что за крепкой стеной будет полный покой. Но за крепкой стеной – что увижу я? Стену, и только. Буду чахнуть от скуки. Свобода нужна мне, размах, жить хочу королем на речном берегу своем, там работать беспечно; а после работ из садика долго следить вырезной хоровод отражений цветных на поверхности вод, и порою кружки – рыбы плевки, да кудрявые травы, что дышат на дне; в этой речке хочу и удить, и лохмотья мыть, и в нее свой горшок выливать. И то сказать: хорошо ли, плохо ли, – а жил я всегда там. Поздно менять. Все равно – хуже не будет. Вы настаиваете на том, что мой дом снова снесут? Возможно. Я же, добрые люди, не собираюсь заниматься зодчеством в продолжение вечности всей. Но, клянусь, коль засяду куда-нибудь, не легко сдвинуть меня. Дважды я перестраивал его, перестраивать буду и десять раз. Не то чтоб это весьма развлекало меня. Но в десять раз скучнее было бы переселиться. Я бы словно лишился души. Вы мне предлагаете другой дом – краше, белее, новее. Да ведь он примял бы меня, замучил, или же сам я взорвал бы стены: нет. Нет, предпочитаю жить здесь.

Теперь итог подведем: жена, дети и дом. Все ли владенья свои обзрел я? Нет, осталось еще кое-что – лучшее; поберег я его под конец. Осталось – мое ремесло. Принадлежу я к братству св. Анны. Я – столяр. Несу я во время праздничных шествий трость со знаком раз-ножки и лиры, на котором изображена бабка Божия, объясняющая азбуку малюсенькой дочке своей – тоненькой, нежной Марии. Вооруженный топориком, пилкой, стамеской, рубанком, я царствую у верстака над дубом упрямым, над орешником ровным. Что возникнет из них? (Это зависит от собственной прихоти, а также от платы.) Сколько образов скрытых и спутанных в дереве спят! Чтоб разбудить красавицу спящую, мне, как и принцу из сказки, достаточно только проникнуть в древесную глубь. Но та красота, которую будит мой струг, – не мишурная ветреница. Иным нравится какая-нибудь лишенная сочности долговязая Диана одного из этих итальянцев, мне же больше по душе наша бургундская мебель с прозеленью на бронзовых частях, крепкая, обильно-выпуклая, тяжелая, гроздистая, баул какой-нибудь огромный, пуза-



тый или резьбой изукрашенный поставец, повторяющий суровое вдохновение мастера Гуго Самбэна. В лепное кружево наряжаю дома. Развертываю звенья извилистых лестниц. Кресла, столы выбиваю из стен, как яблоки из листвы, – кресла, столы широкие и прочные, как раз заполняющие собой то место, которое я им предназначаю. Высшее же наслаждение я чувствую тогда, когда мне удастся на дереве запечатлеть, что смеется в моем воображении – беглое движение, изгиб, ямочку на бедре, дышащую грудь, завиток веселый, вереницу цветов, тени пляшущие, преувеличенные, рожу прохожего, пойманную на лету. Но лучшее мое создание (приводящее и меня и священника в восхищение) вы можете видеть в монтреальской церкви. Там вырезал я на скамье двух буржуа, которые, чокаясь и жуя, покачиваются над столом, и двух львов, вырывающих кость друг у друга.

Выпил, потом поработал, отработал – выпил опять – вот благодать! За собою я слышу упреки и ропот невежд. Они говорят, что для песен веселых выбрал я час неудачный, что горькие годы настали. Нет горьких времен, а только есть горькие люди – бьют они вечно тревогу. То да се, да не смейся, не пой. Не попутчик я им, слава Богу. Всюду бой да разбой. Ну что же, так будет всегда. Клянусь, чрез четыреста лет правнуки правнуков наших будут все так же, как черти, выщипывать шерсть друг у друга. Не скажу, что они не найдут сорок новых способов это делать, что драться будут они лучше нас. Но я совершенно уверен, что нового способа напиваться они не найдут, да не посмеют сказать, что науку эту изучили глубже, чем я.

Кто знает, что будут делать они, мерзавцы, чрез четыреста лет? Быть может, благодаря траве попа из Мэдона, великолепного Пантагруэлиона, им удастся исследовать области Луны, заводы молний, творила дождя, найти себе временное жилье на небесах и пировать с богами. Ну тогда и я с вами. Разве вы не семья мое? Роитесь, голубчики! Впрочем, там, где я теперь, как-то вернее. Как знать, будет ли через четыре столетия такое же доброе вино? Жена мне ставит в вину мою верность вину. Ничего я не презираю. Люблю я все, что по-своему вкусно, кушанья жирные, вина, могучие радости плоти и радости более мягкие, нежные, нежно-пушистые, которых вкушаешь мечтательно: часы неземного безделья, истинно творческие! (Ты властелин вселенной, молодой, и победный, и ясный. Сам ты весь мир создаешь, слышишь, как всходит трава, с лесом беседу ведешь, с зверьми, с богами.) И тебя я люблю, мой старый, верный спутник, мой друг, мой труд! Как приятно работать на верстаке, пилить, стругать, обрезать, вырезать, прибавать, подпиливать, перебирать, растирать красивое, крепкое дерево, и непокорное и послушное, – тело орешника, нежное, жирное, трепещущее под рукой, подобно плечам чародейки, – тела розоватые и молочно-белые, тела смуглые и золотистые, тела нимф лесных, обнаженных и обезглавленных! Отрада безошибочных рук, пальцев разумных, толстых пальцев, под которыми возникает хрупкое произведение искусства! Отрада духа, повелевающего силам земным, вкладывающего в дерево, железо или камень стройную прихоть своей благородной грезы! Я себя чувствую королем сказочной страны. Мое поле дает мне плоть свою, виноградник мой – свою кровь. Дух древесного сока, в угоду искусству моему, заставляет расти, разветвлять, упитывает, растягивает и округляет сучья и стволы тех деревьев, которые я буду ласкать.

Руки мои, как безропотные работники, подчинены старому другу-хозяину – мозгу моему, он же подвластен мне и осуществляет все, что только приглянется моей резвой мечте. Кто лучше обслужен, чем я? Я ль не волшебный король? Не имею ли полного права выпить за здоровье свое? И не забудем (я не из рода неблагодарных), не забудем также и здоровья наших верноподданных. Благословляю тот день, в который я родился. Сколько на этом вертящемся шаре чудных вещей, ласкающих весело взгляд и сладостно-свежих на вкус! Господи Боже, как жизнь хороша, как сочна. Обжираться, а все не могу я нажраться, вечно я голоден, должно быть, это болезнь. Слюнки текут у меня всякий раз, что я вижу накрытый стол земли и солнца.

Однако я хвастаюсь, кум: солнце умерло; в мире моем разгулялся мороз. Разбойник, он входит ко мне не стуча. Перо спотыкается в пальцах оцепеневших. Беда! Льдинка образовалась в моем стакане, и нос мой выпцвел: отвратительный оттенок, ливрея кладбищенская! Ненавижу

все бледное. Эй! Встряхнемся! Колокола св. Мартына звенят и перекликаются. Сегодня – Сретенье Господне. «Мороз либо кончайся, либо крепчай»... Крепчает, подлец! Что ж, наберемся и мы сил. Выйдем на большую дорогу, встретимся с ним лицом к лицу.

Великолепный холод! Сотни иголок колют меня в щеки. На повороте ветер выскакивает из засады и схватывает меня за бороду. Я горю. Слава Богу – нос мой снова окрашивается. Люблю слышать звон скованной земли под ступней. Я себя чувствую совсем молодцом. Попадаются встречные, да все хмурые, понурые.

– Ну что там, ну что, соседка, кто вас так рассердил? Игривый ли ветер, вздувающий юбку? Прав он – молод: как жаль, что я сед, соседка! Он молод, хитер, он знает, куда укусить, он знает, что вкусно. Терпите, ведь всякому хочется жить. Но куда ж вы спешите – с бесенком живым под полой? К обедне? *Laus Deo!*<sup>23</sup> Лукавого Бог победит! Будет смеяться рыдающий, будет кипеть замерзающий. Вы, я вижу, смеетесь уже. Значит, все хорошо. Куда я бегу? В Божий храм, как и вы. Только будет не поп служить, а солнце над чистым полем.

По дороге захожу к дочери, за внучкой своей, Глашей<sup>24</sup>. Мы ежедневно совершаем вместе прогулку. Это мой лучший друг, овечка моя, лягушонка щебечущая. Ей шестой годок стукнул, она смысленней мышонка и лукавей лисички. Не успел я войти, как она уж бежит. Ей хорошо известно, что у меня есть котомка, полная сказок чудесных. Она любит их не меньше, чем я их. Беру ее за руку:

– Пойдем, маленькая. Пойдем жаворонку навстречу.

– Жаворонку?

– Сегодня – Сретенье. Разве ты не знаешь, что в этот день он к нам обратно прилетает с неба?

– Что он там делал?

– Искал для нас жар.

– Жар?

– Да, то, что на небе горит да накаляет чугуны мира.

– А жар, значит, ушел от нас?

– Ну да, – на празднике всех Святых. Ежегодно, в ноябре, он идет согревать небесные звезды.

– Как же он возвращается?

– Три птички за ним посылаются.

– Расскажи.

Она семенит по дороге. На синичку похожа она – в этой теплой белой фуфайке и в голубом капоре. Ей мороз нипочем, но все же из ее короткого носика капает, словно из крана, а круглые щечки, как антоновки две, румяны...

– Ты смотри, сморчок, высморкайся, задуй свечку свою. Свет-то на небе вспыхнет.

– Расскажи, дед, про трех птичек...

(Я люблю, когда меня упрашивают.)

– Три птички пустились в дальний путь, три смелых дружка: королек, зарянка и жаворон. Первый из них, королек, гордый, подвижный, живой, как Мальчик с пальчик, примечает жар, чудный жар, что, подобно пшеничному зернышку, катится по воздуху. Налетает он на него да кричит: «Это я поймал, это я»; и другие кричат, кричат: «Я! Я! Я!» – Но уже королек схватил зерно на лету и падает вниз стрелой... «Пожар! пожар! Он горит!» Клюв закрыв, королек из угла в уголок зерно перекачивает, как комочек кипящей каши; нельзя дольше терпеть, почернел язычок; он зерно плюет и его кладет между крылышек... «Ай, ай! Пожар!» Пламенеют крылышки (ты заметила эти пятна рыженькие, эти перышки выющиеся?). Зарянка на помощь к

---

<sup>23</sup> Хвала Господу! (*лат.*)

<sup>24</sup> У Роллана (и в переводе Лозинского) Глоди (*Glodie*).

нему спешит. Клюет жар-зерно и его кладет за свой шелковый ворот благоговейно. А ворот-то пышный, как вдруг заалеет, зардеет. – И зарянка кричит: «Довольно, довольно с меня – одежда моя сожжена!» Тут подлетает жаворонок, дружок храбренький, ловит пламя, как раз в то мгновение, как оно собиралось взвиться, чтоб на небо вновь возвратиться, ловит – и быстро, точно, легко и стремительно падает на землю и клювом зарывает в ледяную полевую борозду солнечное зернышко. То-то поля разомлеют!..

Я докончил рассказ свой. Теперь Глаша завакала. При выходе из города, там, где дорога начинает подниматься в гору, я посадил ее к себе на плечо. Небо ровное, серое, снег хрустит под деревянными подошвами. Тонкие косточки деревьев тщедушных вдеты в мягкие белые рукавички. Дым синий дальних домишек струится вверх прямо и медленно. Ничто, кроме голоса внучки, тиши не тревожит. Мы достигаем вершины холма. У ног моих искрится город родной, опоясанный лентами Ионны ленивой, <Бе>врона<sup>25</sup> игривого, – зябкий, продрогший, в снежном уборе; но, хоть и весь он оваян морозною пылью, все же он греет мне сердце, когда я гляжу на него.

Город отблесков нежных – и плавных уклонов... Вкруг тебя переплелись, словно гнезда, круговые соломинки, линии мягкие вспаханных скатов; удлиненные волны узорчатых гор рядами вздымаются зыбкими – синяя вдали, как море... Это море не схоже с неверною бездной, что некогда чуть не сгубила Улисса. Ни бурь, ни течений коварных... Спокойно оно. Лишь порой дуновение как будто вздувает грудь голубого холма. С волны на волну, не спеша, переходят дороги прямые и, как ладьи, за собой оставляют узкий светлеющий след. Дальше, над гребнем тех вод, Маделэн-Везлэ<sup>26</sup> мачты свои возвышает. А вблизи, над излучиной Ионны змеиной, басвильские скалы пробивают кустарник клыками своими кабаньими. На дне округленной долины мой город небрежно-нарядный наклоняет над влагой речною сады свои, крыши кривые, ожерелья свои и лохмотья, гармонию и грязноту удлиненного тела, – город мой, гордо украшенный башней своей кружевной...

Так я люблю той раковинкой, из которой я вытянулся, подобно улитке. Колокола церкви моей наполняют звоном долину; их чистый напев разливается, как ручей хрустальный, в тонком морозном воздухе. Пока я блаженствую, вдыхая их музыку, полоса солнца вдруг прорезает серую пелену, скрывавшую небо. И в тот же миг Глаша бьет в ладоши и восклицает:

– Дед, я слышу! Жаворонок! Жаворонок!

Тогда я смеюсь – так меня радует светлый ее голосок. Я смеюсь и, целуя ее, говорю:

– И мне тоже слышится; да, – жаворонок, весна.

---

<sup>25</sup> У Набокова здесь ошибочно «Вюврона» (в оригинале *Beuvron*).

<sup>26</sup> Имеется в виду один из центров паломничества средневековой Европы аббатство Везле – аббатство св. Марии Магдалины в местечке Везле, Бургундия.

## Осада, или Пастух, волк и овечка

*«Овца из Шаму: достаточно трех, чтобы волка задушить».*

### Середина февраля

Погреб мой опустошается. Сегодня солдаты, которых герцог Неверский сюда послал, чтобы нас охранять, вздумали почать мою бочку последнюю. Не будем время терять – пойдем-ка с ними пить вместе. Если уж прогорать, так весело. Это не первый и, дай Бог, – не последний раз... Милые люди! Они еще больше огорчились, чем я, когда узнали, что уровень жидкости понижается. Среди соседей моих есть господа, которые смотрят на все безнадежно мрачно. Я же больше не способен сетовать. Я пресыщен. Слишком много шутовских представлений видал я на веку своем, чтоб верить в искренность лицедеев. Какие только маски не проходили предо мной – и швейцарцы, и германцы, и гасконцы, и лотаринжцы, все воинственные звери, порабощенные, вооруженные, глотатели серой шерсти, голодные гончие, всегда готовые погубить человека. Кто когда-либо ведал, зачем дерутся они? Вчера они за короля, сегодня за лигу. То они – папские холопы, то – гугеноты. Оба стана стоят друг друга. Лучший из них не окупает и петли виселицы. Не все ли нам равно, этот ли воришка или тот путается при дворе? И смеют они еще вмешивать Бога в свои дела! Клянусь брюшком рыбки, добрые люди: Бог не нуждается в вашей опеке! Он совершеннолетний.

Коль чесотка у вас – царапайтесь, но Бога оставьте в покое. Да и он обойдется без вас. Он, небось, не безрукий, захочет – почешется сам...

Но беда в том, что они думают и меня заставить обжуливать Бога!

Господи, я славлю тебя и верю, говоря без хвастовства, что мы с тобой встречаемся по несколько раз в день, ибо добрая галльская поговорка гласит: «Кто под хмельком – тот с Богом знаком». Но никогда мне не придет в мысль сказать, что я знаю каждый твой взгляд, что ты мой двоюродный брат, что мне вверены все твои намерения. Ты по справедливости должен признать, что я тебя не беспокою, – и прошу я только одного – поступай так же по отношению ко мне; у нас с тобою и без того достаточно много домашних хлопот: твоя вселенная и мой маленький мир – оба одинаково требуют забот.

Господи, ты меня сотворил свободным. Будь свободен и ты. А между тем нахалы эти уверяют, что я должен управлять делами твоими, говорить за тебя, указывать, каким именно образом ты желаешь, чтобы надоедали тебе, и объявлять врагом, и твоим и моим, всякого, кто дерзает надоедать тебе иначе! Мой враг? Как бы не так! Все люди – друзья мои. Дерутся они – пускай, это их дело. Когда можно, я из игры выпадаю; но они держат меня, негодяи! Будь врагом одного, а то недругом будешь обоих; тот бит, кто стоит на черте между ними. Ну что ж, надо биться и мне. Буду сперва наковальной, но я ль не умею ковать?

Кто мне скажет, зачем появились на свете вороны эти: воры, а не дворяне, правители, законодатели, нашей Франции кровопускатели? О славе страны они твердо поют, а карманы ее-то вывертывают, все берут, им не жаль ее; но идут они далее, угрожают Германии, подползают к Италии, да в гаремы Востока суются; им бы хотелось владеть половиною всей земли, но, получив ее, не могли бы и капусту насадить!.. Стой, успокойся, друг мой, нечего попусту кипятиться. Мир и так хорошо устроен – пока мы его не устроим еще лучше (это будет при первой возможности). Мне как-то рассказывали, что однажды Христос (Господи! я сегодня только и делаю, что говорю о тебе), гуляя с Петром по Вифлеему<sup>27</sup>, увидел женщину, которая,

---

<sup>27</sup> Бейан, или Вифлеем, – предместье Кламси (прим. Роллана: *Роллан Р.* Собр. соч.: В 14 т. Т. 7. С. 23).

пригорюнившись, сидела у себя на пороге. Она так тосковала, что Создатель, сжалившись над ней, вытащил, говорят, из кармана горсточку вшей и сказал: «На, позабавься, дочь моя!» Тогда женщина, очнувшись, принялась охотиться; и всякий раз, как удавалось ей раздавить насекомое, она смеялась от удовольствия.

Подобное же милосердие выказали небеса, подарив нам для развлечения те существа двуногие, которые ныне грызут нас. Будем веселы, веси! Присутствие гадости этой, оказывается, признак здоровья (гадины – хозяева наши). Возрадуемся, братья: нет никого, кто был бы здоровее нас; а кроме того, я вам скажу (на ухо): «Терпенье! Мы не в проигрыше. Холод, изморозки, разбойники огородные и благородные – все это до поры до времени. Они уйдут, но земля-то останется, и останемся мы, чтобы ее удобрять... А пока допьем последний свой бочонок. Нужно место очистить для будущих сборов».

Дочь Марфа<sup>28</sup> мне говорит: «Ты просто бахвал. Тебя слушая, можно подумать, что ты только умеешь болтать, бить баклуши, бухать, как колокол, да забулдыжничать; что в жизни ты только зевака и бражник, что залпом способен ты выпить и Красное море и Белое; на самом же деле не можешь и дня ты провести, не работая. Ты хочешь, чтоб люди считали тебя жужжащим жуком, простаком, расточительным и бестолковым; однако ты слег бы, наверное, если б твой день хоть слегка изменить – твой скупой расчисленный день, подобный курантам звенящим. Каждый грош у тебя на счету, и еще не родился тот, который тебя бы надул».

Ах, дурачок! Ах, вертопрашный! Бейте беззащитную овечку! «Овца из Шаму, достаточно трех, чтобы волка задушить...» Я смеюсь, – молчу... У нее острый язычок, и она права, но не следовало бы ей говорить все это, женщина на ключ запирает только то, чего она не знает. Марфа меня видит насквозь, недаром я создал ее. Ну, была не была, сознайся, друг мой, Николка: как ни безумствуешь ты, а все же не будешь ты никогда совершенно безумным. Как у всякого, есть у тебя ветреный бес в рукаве. Порою ты кажешь его, но прячешь, когда работа требует свободы рук и ясности в мыслях. В тебе, как и во всех французах, непоколебимы некая рассудительность и врожденное чувство порядка, а потому ты можешь иногда, забавы ради, притворяться головорезом. Это представляет опасность только для тех жалких глупцов, которые глядят на тебя, рот разинув, и желали бы тебе подражать.

Краснословие, гулкие стихи, горыньские замыслы<sup>29</sup> – все это не лишено сладости. Воспламеняешься, разгораешься; но мы потребляем только хворост, крупные же поленья остаются лежать ровными рядами в нашем дровяном сарае. Мое воображение вертится на подмостках перед глазами разума, сидящего в удобном кресле. Все делается в угоду мне. Целый мир – театр мой, и, как неподвижный зритель, я слежу за развлекательным представлением, рукоплещу Мата<м>ору и Франкатриппе, любуюсь рыцарскими поединками и колесницами королей, кричу бис, когда люди разбивают друг другу головы. Нам весело! Порою, чтобы удвоить удовольствие, я делаю вид, что искренно принимаю участие во всем этом. На самом деле же я лишь верю столько, сколько нужно, чтобы не скучать. Или вот когда слушаешь волшебные сказки. Да и не только волшебные... Есть один сановитый господин, наверху, там, в эмпиреях... Очень уважаем мы его. Когда по нашим улицам он шествует, с крестом горящим во главе, да с песнопеньями, мы простынями белыми занавешиваем стены наших маленьких домов. Но между нами говоря... Болтун, типун тебе на язык! Это пахнет костром... Господине, я ничего не сказал. Шапку снимаю.

---

<sup>28</sup> У Роллана – Мартина.

<sup>29</sup> Горыня – сказочный богатырь и великан, который горами качает (Словарь Даля).

\* \* \*

## Конец февраля

Осел, ошипав луг, сказал, что больше нет надобности его оберегать, и отправился есть (оберегать то есть) траву на лугу соседнем. Люди господина Невера ушли сегодня утром. Приятно было глядеть на них, так соблазнительно разжирили они. Я гордился кухней нашей. Мы расстались приветливо – руку к сердцу прикладывая, губы в сердечко складывая. Они выразили тысячу пожеланий изящно-вежливых, пожелали нам, чтобы колосья тучны были, чтоб мороз не тронул виноградников.

Трудись, сказал мне на прощанье Якорь Балакирь<sup>30</sup>, мой гость-сержант, трудись, дяденька (так он меня именует, и я оправдал это прозвище вполне: тот мне дяденька, кто меня кормит сладенько). Не жалея своих сил, ступай подрезывать лозы. Через год ты снова нас будешь потчевать...

Милые люди, всегда готовые прийти на помощь честному человеку, когда он сидит за кружкой вина! Как-то легче чувствуешь себя, с тех пор как они ушли.

Соседи осторожно вынимают спрятанные яства. Те, которые еще так недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, точно у них за пазухой возился волк, – теперь из-под земли погребов, из-под соломы чердаков вытаскивают все, что нужно, чтобы накормить досыта хищника этого. И хоть скулили они, очень убедительно жалуясь, что у них ничего не осталось, однако не было ни одного такого негодяя, который бы не нашел способа спрятать лучшее свое вино. Я сам (не знаю, как это случилось), проводив гостя Якоря Балакиря, внезапно вспомнил, шлепнув себя по лбу, о небольшом бочонке сабли, который я по рассеянности оставил в конюшне, прикрыв навозом, чтоб ему тепло было. Меня это очень опечалило, разумеется, но когда зло сделано – оно сделано, и сделано ладно; нужно примириться. Примириться не трудно. Ах, Балакирь, племянник мой, что вы потеряли. Какой нектар, какой букет!.. Впрочем, – нет, друг мой, нет! вы не потеряли ничего, вы ничего не потеряли, мой друг. Ведь я пью за ваше здоровье!

Бродишь, ходишь по домам. Сосед соседу показывает, что нашел он в своем погребе. Как некие авгуры, перемигиваемся, поздравляем друг друга, повествуем о поврежденьях (о женах, об их поврежденьях). Рассказы соседа тебя веселят, свои забываешь несчастья. Наведываешься о здоровье<е> супруги Викентия Брызги<sup>31</sup>. После всякого пребывания полка в нашем городе эта доблестная женщина расширяется в объеме. Поздравляешь отца, восхищаешься плодородием чресел его. И в шутку, без задней мысли, я добродушно похлопываю по животу счастливицы, у которого, говорю я, дом полная чаша, в то время как голы жилища наши. Все, конечно, смеются, но смеются скромно.

Брызга, однако, обижается и объявляет, что было бы лучше, если б я наблюдал за своей женой. – «Что касается этого сокровища, – ответил я, – благословенный его обладатель может ослепнуть, оглохнуть и все-таки быть совершенно спокойным, мой друг». – И все согласились вокруг.

---

<sup>30</sup> У Роллана Fiacre Bolacre (у Лозинского – Фиакр Болак).

<sup>31</sup> У Роллана Vincent Pluviaux (у Лозинского – Венсан Плювью).

\* \* \*

Но вот наступают скромные дни. Оскудели мы, а нужно их отпраздновать; этого требует честь нашего города. Что подумают о Клямси, славном своей колбасой, если к началу Масленицы у нас даже горчицы не будет? Слышно, как печи шипят; на улицах воздух пропитан запахом сала приятным.

Блин, блин, пляши! выше, выше! пляши для Глаши моей!.. Бормочут барабаны, лепечут флейты. Хохот и свисты. Это приехали соседи-сплавщики. Приехали проведать Рим<sup>32</sup>. Во главе идет музыка и ватага копыеносцев, толпу пробивающих носом. Носы в виде хоботов, носы в виде шпаг, носы как рога, носы как рогатки, носы подобно каштанам, в частых шипах, носы с птицами на концах. Они расталкивают зевак, обшаривают юбки взвизгивающих девиц. Но всё разбегается перед Королем носов, который насккивает, как таран, и катит перед собой на лафете свой смертоносный нос.

Следует колесница Царя сушеной рыбы. Лица бледные, зеленоватые, худые, монашеские, неприятные, зябко-дрожащие под чешуйчатыми белоглазыми капюшонами. Сколько рыб! Один несет в каждой руке по карпу или окуню, другой машет трезубцем с насаженными на него пескарями, у третьего вместо головы – щука с плотвою во рту, и, распарывая себе брюхо пилой, он рождает рыб без числа. Меня гадует<sup>33</sup> даже. Иные, распахнув пасть и вглубь засунув пальцы, чтоб расширить ее еще больше, давятся, запихивая себе в глотку слишком крупные яйца. Слева, справа монахи в совиных масках с высоты колесниц удят уличных мальчишек, которые, разинув рот, скачут, как козлята, стараясь поймать и раскусить на лету орешки или навозные шарики, облепленные сахаром.

А сзади шагает дьявол, одетый поваром, постукивая ложкой суповой об кастрюлю. Омерзительной смесью он весело кормит шестерых связанных босых грешников, которые бредут гуськом, просунув меж ребер лестницы уродливые головы в колпаках бумажных.

Но подожди, увидишь самых важных, вот они, торжествующие вожди. На престоле из окороков, под навесом из копченых языков едет Королева колбасная, в лоснящемся коричневом венке, в ожерелье из сосисок дымчатых, которое она перебирает с ужимочкой своими пальцами начиненными. Ее сопровождает блестящая жирная стража – Колбаса белая, Колбаса черная, – вооруженные вертелами. Люблю также этих сановников, у которых вместо туловища пузатый котел или мясной пирог. Они несут, подобно волхвам, – кто голову кабана, кто чашу синеватого вина, кто горшок горчицы дижонской. При звуках труб, литавр, уполовников, сковород, среди общего хохота, – вот, является, верхом на осле, король рогачей, наш друг Брызга... Так-таки избрали его. Сидя лицом к хвосту, в высокой чалме, с рюмкой в кулаке, он слушает, как его телохранители, рогатые дьяволы, сочно рассказывают на хорошем французском языке, не скрывая ничего, о воцаренье и славе его. Как мудрец истинный, он не выказывает гордости излишней. Беззаботно он пьет, заливается. Но когда ему случается проезжать мимо жилища, той же судьбой отмеченного, он, подняв стакан, восклицает: «Эй, за здоровье твое, собрат!» Наконец, замыкая шествие, проходит Красота внешняя. – Свежая девушка, розовая, веселая, с чистым лбом, с цветиками ясными желтого гасника на мелких локонах. Сережки, сорванные с юного дерева, зеленеют у нее на перевязи, вокруг маленьких круглых грудей, а на бедре колышется кошель-колокольчик. И, корзинку в руке раскачивая, высоко подняв брови бледные, широко раскрыв глаза, цвета лазури утренней, округляя старательно рот, острые зубки показывая, она голосом тонким поет о ласточке забывчивой. Подле нее, на повозке, которую

---

<sup>32</sup> «Рим» – верхний город; это имя он получил от так называемой «Староримской» лестницы, ведущей от площади св. Мартина к Бевронскому предместью (прим. Роллана: *Роллан Р. Собр. соч.*: В 14 т. Т. 7. С. 26).

<sup>33</sup> Гадовать – блевать (Словарь Даля).



тянет четверка больших белых волов, сидят другие весенницы – красивые, крупные девицы и девочки в нелстивом возрасте, словно слепые деревца, ростки пустившие, туда, сюда, в каждой не хватает кусочка; но, впрочем, волк остался бы доволен... Дурнышки хорошие! Они держат в руках клетки с перелетными птицами или же, пошаривая в корзине Королевы-весны, бросают в толпу гостинцы, сверточки легкие с чепцами и платьями, орешки, судьбу записанную, любовные стишки, а то – рога.

За рынком, перед башнею девы, спрыгивают с повозки и на площади танцуют с писарями и приказчиками. Между тем Масленица и Король рогачей продолжают свой блистательный путь, останавливаясь через каждые двадцать минут, чтоб сказать человеку истину или же искать ее на дне стакана.

Дай вина, дай вина, дай вина,  
ужель разойдемся, не выпив вина?  
Нет!  
Мы бургундцы, а бургундцы  
не такие уж безумцы!

\* \* \*

Но от слишком частого поливания язык тяжелеет и красноречие плесневевает. Я покидаю доброго Викентия, который со своими спутниками вновь привалил к тени кабака. Нельзя сидеть взаперти, когда день так приятен. Пойдем подышать воздухом полей!

Мой старый друг, поп Шумила<sup>34</sup>, приехавший из деревни своей, чтобы попить у архиерея, приглашает меня прокатиться. Беру с собой Глашу. Мы оба влезает в его тележку, запряженную осликом. Пошел, пошел, серенький! Он так мал, что я предлагаю его посадить в повозку между Глашей и мной. Дорога белая растягивается. Солнце дремлет по-старчески; оно больше греется само, нежели нас согревает. Ослик засыпает тоже и останавливается задумчиво. Возмущенный поп его окликает басом.

Ослик вздрагивает, прыдет ушами, маячит меж двух колеек и снова замирает, снова задумывается, равнодушный к нашим понуканьям.

– Ах, проклятый, если б не знак креста, которым ты отмечен, – гудит Шумила, тыча палкой ему в зад, – я сломал бы дубину об твою спину.

Чтобы передохнуть, мы останавливаемся у первой же харчевни, при повороте дороги, спускающейся оттуда к деревне Армса, которая, белея внизу над светлой рекой, любит отраженьем своей тонкой мордочки. Посередине соседнего поля вокруг высокого орешника, вздымающего к белесому небу свои черные руки, свою гордую наготу, – пляшет хоровод девушек. Они только что принесли праздничную дань – жирные блины – кумушке-сороке.

– Агу, сорока, агу, белобока! Глаша, глянь-ка, вот она, высоко, высоко, на краю гнезда. Любопытствует! Чтоб круглый глазок да болтливый язычок чего бы не пропустили, она построила домик свой среди самых высоких ветвей, на ветру...

Промокла сорока, озябла – да что ей? Зато все видно. Она не в духе, она как будто хочет сказать: «Не нужно мне ваших даров. Унесите их, дурни!.. Если бы я пожелала отведать блинов, – неужели вы думаете, я не могла бы взять их у вас? Разве приятно есть то, что дают тебе? Нет, вкусно лишь краденое».

– Дед, почему же тогда ей дарят блины и эти красивые ленты? Почему с пожеланьями добрыми приходят к этой воровке?

---

<sup>34</sup> У Роллана le curé Chamaille (у Лозинского – кюре Шамай).

– Потому, видишь ли, что нужно быть в жизни со злыми в ладу.

– Однако, Николка Персик, хорошему ты ее учишь, – сердито гудит Шумила.

– Я не говорю, что это хорошо, – я говорю только, что так все делают, ты – первый, мой друг. Да, да, вращай глазами! Посмей сказать, что, когда тебе надоедают те из твоих прихожан, которые все видят, все знают, всюду нос суют, у которых рот что мешок, полный сплетен лукавых, – ты бы не набил их блинами, чтобы замолкли они!

– Господи! Если б этого было достаточно! – восклицает поп.

– Впрочем, я оклеветал горланью. Она все-таки лучше иной женщины. Язык ее пользу приносит.

– Какую, дедушка?

– Когда близок волк, она стрекочет.

И что же: при этих словах сорока начинает кричать. Она ругается, захлебывается, бьет крыльями, кружится, обрушиваясь трескучей бранью на кого-то, на что-то, что скрыто в долине Армса. На опушке леса ее пернатые кумушки – сойка бойкая и Ворона Ларионовна – вторят ей обиженно и раздраженно. Люди хохочут, люди кричат: «Волки!» Никто этому не верит. Но все же идут посмотреть (верить хорошо, видеть еще лучше)... И что же видят? Экая чертовщина! Из долины по склону поднимается вереница вооруженных людей. Мы их узнаем. Это вражий отряд из Везлэ. Мерзавцы! Им стало известно, что наш город остался без стражи, и они вообразили, что возьмут его голыми руками!

Не долго предаемся созерцанию. Каждый кричит: «Спасайся кто может!» Толкаются, рассыпаются; стремятся сломя голову по дороге, по полям, по скатам. Этот – на животе, как свинья, тот – на другом полушарии тела. Мы трое вскакиваем в свою тележку. Как будто раскусив, в чем дело, ослик срывается, как стрела с лука; Шумила бьет его с постоянством барабанщика, совершенно забыв от волнения, что нужно относиться с почтеньем к спине, отмеченной знаком креста. Мы катимся, обгоняя поток людей, взвизгивающих на бегу, и, наконец, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Клямси. Повозка прыгает, ослик несется, земли не касаясь, поп хлещет вовсю, и мы кричим, пролетая через предместье Беяна:

– Враг идет!

Сперва люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. Тогда все завозилося, словно муравейник, в который сунули палку. Метались, хлопали дверьми, входили, выходили, снова входили. Мужчины вооружались, женщины собирали пожитки, всякой всячиной набивали мешки, нагружали тележки; все жители местечка, покинув свои норы, отхлынули к городу, под защиту стен; сплавщики, не снимая нарядов своих и масок, рогатые, когтистые, пузатые, кто в образе Гаргантюа, кто в образе Дьявола, вооруженные острогами, баграми, побежали на бастионы.

Так что, когда передовой отряд неприятеля встал под стенами, мосты уже были подняты и по ту сторону ямы оставалось лишь несколько бедняков (которые, не имея ничего за душой, не очень торопились спасти свое имущество) – и король рогачей, друг наш Брызга, забытый своим конвоем. Король, полный по самое горлышко и круглый, как Ной, храпел верхом на осле, ухватившись за хвост.

Здесь отмечу, как выгодно иметь врагами французов. Иные олухи, немцы, или швейцарцы, или англичане, которые лучше руками шевелят, чем мозгами, и соображают только на Рождестве то, что им говорят на Пасхе, несомненно подумали бы, что глумятся; и я бы гроша медного не дал за участь бедного Брызги. Но соотечественники понимают друг друга с полуслова: откуда бы ни был ты родом – из Лотарингии, из Турэни, из Шампани или из Бретани, – кто бы ни был ты – гусь ли из Боса, осел из Боны или заяц из Везлэ, – с кем бы из соседей своих ты ни дрался, – славную шутку всегда ты оценишь, как истинный француз. Увидев нашего Силена, весь неприятельский лагерь расхохотался. Смеялись они ртом и носом, животом и подбородком, душой и телом, – и мы, чорт возьми, глядя на них с бастионов, лопались со

смеху. Потом мы через яму обменялись веселыми ругательствами по примеру Аякса и Гектора. Только наши были смазаны более сочным салом. Хотелось бы мне их привести, но времени нет; я их включу, однако (терпенье!), в сборник, над которым я тружусь вот уже двенадцать лет, сборник всех жирных шуток, галушных, похабных, мною сказанных, читанных, слышанных (право, было бы жаль их утратить) во время паломничества моего в сей долине слез. При одном воспоминании я уже чувствую судороги смеха. Ну вот, – я поставил кляксу крупную.

\* \* \*

Когда мы накричались вдоволь, пришлось за дело приняться (действие после разговора – отдохновенье). Ни им, ни нам того не хотелось. Они обманулись в расчете – мы были защищены. Желанье вскарабкаться по стене их мало занимало; им бы кости переломало. Однако во что бы то ни стало нужно было предпринять что-нибудь. Пожгли пороху, повыпустили бескорыстно петард несколько, но пострадали одни воробьи. Мы же спокойно сидели, прислонившись к стене, у подножия парапета, и ждали, когда пролетят плевки, чтобы самим плюнуть (не целясь, не слишком высываясь). Мы решались выглянуть только тогда, когда раздавались вопли пленников; поставили их рядом лицом к стене (а было их с дюжину, все мужчины и женщины из Беяна) и хлестали их по оголенным ягодицам. Они ревели белугой, но зло было невелико. В виде мщенья мы потекли вдоль круговой ограды, прикрывающей нас, выявив всякие яства, окорока да колбасы, насажденные на наши колеблющиеся копыя.

Иступленные крики проголодавшихся осаждаателей развеселили нас, как доброе вино, и, дорожа каждой каплей его (когда найдешь хорошую шутку – чисто кость обглодай!), мы расположились под светлым небом, на траве, в тени стен, вокруг столов, кряхтевших под тяжестью блюд и бутылок. Мы пировали, грохотали неистово, пели, пили за здоровье Масленицы. Те едва не передохли от злобы. Так прошел день – скромно, без особых неприятностей. Был, впрочем, один несчастный случай: толстый Пузо-Пузак, охмелев, пожелал пройтись по самой стене со стаканом в руке, чтоб еще больше раздражить неприятеля, и мушкетный залп расквасил ему и голову, и стакан. Мы взамен тоже гвозданули двух-трех. Но это не испортило нам настроенья. Известно, что ни единого не обходится праздника без нескольких битых горшков.

Шумила решил ночью под защитой мрака выйти из города и вернуться восвояси. Мы напрасно твердили ему:

– Друг, – это слишком опасно. Подожди, скоро конец. Бог возьмется хранить твою паству.

Он отвечал:

– Место мое среди моих овец. Я десница Господня. Если я не приду, калекой останется Бог. А там я бы делу помог, клянусь.

– Верю, верю тебе, – говорю я. – Ты доказал это, помнишь, когда колокольню твою гугенотов отряд осаждал и ты забулавил булыжником их капитана?

– И удивлен же был этот язычник! – замечает Шумила. – Я, впрочем, тоже. Незлобивый я человек, видеть бьющую кровь не люблю я. Гадость какая! Но чорт его знает что происходит в тебе, когда среди безумцев стоишь! Превращаешься в волка!

Я в ответ:

– Это правда. Здравый смысл всего легче в толпе потерять. Сто мудрецов составляют безумца, сто овечек – волка. Но, кстати, скажи-ка мне, поп, как согласишься ты оба закона – закон человека, который живет с глазу на глаз со своей совестью и желает покоя себе и другим, – и закон стада людского, государств, преступление считающих подвигом, – какой из них Божий?

– Что за вопрос!.. Оба, мой друг. Все от Бога.

– Если так – он не знает, что ему нужно. Но я думаю сам, что, пожалуй, он знает, а все же порою бессилён; с одним человеком он справится: он без труда принуждает его к послушанию, но, когда собирается целое стадо людей, Богу плохо приходится. (Что может один против всех?)

Тогда человек чует шепот земли – матери хищной – и дух ее воспринимает. Помнишь сказку о том, что люди по некоторым дням обращаются в волков, а потом снова принимают облик свой обычный? Наши старинные сказки мудрее твоего молитвенника, поп. Люди, собравшиеся в государство, делаются волками. И государства, и короли, их управители, напрасно надевают пастушью одежду, напрасно обманщики эти называют себя меньшими братьями великого пастуха, твоего же Доброго Пастыря, – все равно они только волки да акулы, пасть да брюхо которых ничто насытить не может. И почему? Потому что голод земли безграничен.

– Ты бредишь, язычник, – говорит Шумила. – Бог создал волков, как и создал он все для нашего блага. Разве тебе не известно, что сотворил Иисус первого волка для того, чтобы он охранял от козлят капусту в огорожке Богородицы? Он прав был. Склонимся. Мы стонем, на сильного жалуясь вечно. Но если бы, друг мой, властелинами слабые стали, было бы хуже еще. Заключение: все хорошо – и овцы и волки. Овцам волк нужен, чтоб он их берег. Также и овцы волку нужны, ибо надо же питаться. Я же, друг мой Николка, капусту свою пойду стеречь.

Подоткнул он рясу, сжал в руке дубинку и ушел в безлунную ночь, не без волнения поручив мне ослика своего.

Последующие дни были не так веселы. Мы в первый вечер жрали не считая, из жадности, из хвастовства и просто по глупости. Наши припасы были более чем подгрызаны. Пришлось поджечь животы; поджгли. Но мы все еще храбрились. Когда вся колбаса исчезла – мы выпустили собственные изделия – кишки, набитые опилками, канаты, вымазанные в сажу, – которые мы проносили на острогах, под самым носом неприятеля. Но подлец выпотрошил хитрость нашу. Пуля пополам перерезала одну из колбас. И кто тогда громче хохотал? Не мы. Наконец разбойники эти, видя, что мы удим с высоты стен, окаймляющих реку, вздумали растянуть на плотинах вверх и вниз по течению широкие сети, перехватывающие нашу рыбу. Тщетно архиерей наш умолял этих нехристей позволить и нам справлять Масленицу. За неимением постного, пришлось питаться своим жиром. Мы, конечно, могли бы попросить помощи у господина Невера. Но, по правде сказать, нам не очень хотелось снова приютить войско его. Иметь врагов снаружи обходилось дешевле, чем иметь друзей внутри. Поэтому мы молчали, пока не было надобности их призывать. И неприятель со своей стороны тоже скромно помалкивал. Мы оба предпочитали обсудить дело вдвоем, без вмешательства третьего. Таким образом, начались неторопливые переговоры. Меж тем в обоих лагерях текла жизнь очень мирная: мы ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары, зевали больше от скуки, чем от голода, и спали так много и так крепко, что хоть и говели, а разжирели. Двигались как можно меньше; но было трудно детей удержать. Они всё бегали, пищали, смеялись, вертелись, язык показывали врагу, сыпали в него камнями. У них был целый оружейный склад, состоящий из бузинных спринцовок, пращей веревчатых, палок расщепленных... Обезьянки неистово хохотали (на тебе, на тебе, бац в самую гущу!), и те, разъяренные, клялись их истребить. Нам крикнули, что первый же шалун, который высунет нос, будет застрелен. Мы обещали наблюдать за ними; но тщетно мы их за уши драли, тщетно на них орали – они у нас меж пальцев проскальзывали. И вот доигрались. (Как вспомню, дрожу.) Как-то вечером слышу я крик: то Глаша (нет! кто бы сказал, спящая эта вода, смиренница эта, – ах, проказница, ах, золотая моя) – Глаша упала с ограды да в яму нырнула! Боже!.. как я ее выдрал бы! На стену вспрыгнул я живо. И все мы, нагнувшись, смотрели... Отличной мишенью мы бы врагу послужили; но враг, как и мы, глядел на дно ямы, куда моя девонька (слава тебе, Богородица!) мягким легким клубочком скатилась. Сидела она среди травы расцветенной, лицо поднимала и лицам, склоненным с обеих сторон, улыбалась по-детски и срывала цветы. Все мы тоже смеялись в ответ. Господин Рагни, неприятельский вождь, приказал, чтоб ребенка не трогали, а сам даже бросил ей – добрый он был человек – коробочку, полную розовых сахарных лепешек. Но пока мы занимались Глашей, Марфа (с женщинами всегда возня) кинулась спасать овечку свою, и вот по тому же скату спускалась стремительно, сбегая, скользя, кувыряясь, юбку закинув за шиворот и гордо

показывая осаждаателям свой восток, свой запад, все четыре точки мироздания и светило, на небе сияющее. Ее успех был блистателен. Она не сбросила, схватила дочку и поцеловала ее и отшлепала. Восхищенный ее прелестями, не слушая капитана своего, один громадный солдат в яму спрыгнул и бегом направился к ней. Она ждала. Мы сверху бросили ей метлу. Она ее схватила и смело пошла на врага – ах и трах, бах-бабах (плохо приходилось волоките!) и в зад и в бок, а он наутек. Гремите трубы, ликуйте!

Победительницу вместе с ребенком втащили наверх при общем хохоте; и я тянул, гордый, как павлин, за веревку, на которой мое детище поднималось, являя врагу светило ночное.

Еще целая неделя прошла в обсуждениях (всякий предлог хорош, коли болтать любишь). Ложный слух о приближении господина Невера наконец привел нас к соглашению; условия мира не были особенно тягостны: мы обещали торговцам города Везлэ десятую долю виноградных сборов. Легко обещать то, чего не имеешь, что будешь иметь, да и будешь ли? Бог весть! Во всяком случае, немало воды протечет под мостами, немало вина мы выпьем сами.

Итак, мы были вполне довольны друг другом и еще более довольны собой. Но только ливень миновал, дождь иной захлестал. Случилось это как раз в ночь после договора: в небесах появилось знамение часу в десятом, вышло оно из дальнего леса, за которым таилось, и, скользя по звездному полю, растянулось, как змея. Оно походило на шпагу с горячим острием, окруженную кольцами дыма. Рукоятку сжимают пять пальцев; вместо ногтей вопиющие головы, на четвертом – буйноволосая женщина. И ширина той шпаги у рукоятки – целая пядь; у острия – три четверти дюйма, посередине – два дюйма с третью. И цвета она лиловато-красного, словно широкая рана. Все дураками глядели на небо; слышно было, как зубы шелкали. И оба лагеря мысленно решали вопрос: к какому относится предсказанье. И наш был уверен, что погибнет ихний. Но у всех поджилки тряслись. У всех, кроме меня. Я страха не ощущал. Впрочем, нужно добавить, что я ничего и не видал; лег я в девять часов, по предписанию альманаха; где бы я ни был, когда альманах приказывает, я безмолвно покоряюсь; ибо это слово евангельское. Но так как мне все потом рассказали, вышло то же, как если бы я сам видел. Я и записал.

Мир заключили, и все вместе, други и недруги, собрались на пир. Пост миновал, Масленица была в полном разливе, и отпраздновали же мы ее! Окрестные села послали нам всякой снеди, а с нею и едоков. Прекрасный был день. По всей длине крепостного вала тянулись накрытые столы. Подано было три поросенка, бережно сжаренных, цельных и плотно набитых пряною смесью остатков кабаньих с печенкою цапли; окорока благовонные, в очаге закопченные вместе с ветками можжевельника; пироги со свиной нарубленной или зайчатинной, в складках румяного теста, чесноком и лавровым листом ароматно пропитанных; колбаса и кишки; улитки и шуки; жареные кушанья, опьяняющие запахом еще издали; головизны телячьи, вкрадчиво нежные; и горы горящие раков, приправленных перцем, опаляющим глотку; и тут же освежающие салаты, – и вина тонкие, разнообразные – шапот, мандр, вофиллу, а под конец – холодные, белые хлопья простокваши, тающие меж небом и языком, да печенья, впитывающие выпитое вино, словно губки.

Никто из нас не отступил ни на шаг, пока было что жрать. Да возблагодарим Господа за то, что он дал нам возможность в такой краткий срок напихать в мешок нашего живота бутылки и блюда! Особенно великолепен был поединок между отшельником Карноухим, которого поддерживали жители Везлэ (этот великий мудрец первый, говорят, заметил, что осел не может кричать, не подняв хвоста), и нашим (не хочу сказать – ослом) отцом Скоморохом, который утверждал, что он некогда был карпом или шукой, – такое теперь отвращенье вызывала в нем вода, – оттого, верно, что он слишком много выпил ее в иной жизни.

Когда мы встали из-за стола, все мы, люди из Везлэ, люди из Клямси, ценили друг друга гораздо больше, чем во время первого блюда; человека узнаешь за едой. Кто любит вкусное, любим мною, ибо он хороший бургундец.

Наконец, чтобы окончательно нас подружить, явились, пока мы переваривали ужин, подкрепления, посланные господином Неверским для защиты нашей. Славно посмеялись мы; и оба наши лагеря очень вежливо попросили их уйти откуда пришли. Они не посмели настаивать и отправились назад, смущенно-жалкие, словно собаки, которых бы овцы повели пастись. И мы говорили, обнимая друг друга: «Как глупо было драться ради наших опекунов; если б у нас не было врагов, они бы, чорт возьми, выдумали бы каких-нибудь, чтобы иметь возможность нас защищать. Благодарим! Да спасет нас Бог от спасителей наших. Мы и сами спасемся. Бедные овечки! Если б нам нужно было оберегаться только от волка, мы бы знали, как поступать. Но кто нас защитит от пастуха?»

## В гостях у попа

### Начало апреля

Как только дороги очистились от этих непрошенных гостей, я решил проводить Шумилу в деревне его – Брев. Не то чтоб тревожился я, – у молодца кулак не на привязи! Но все же спокойнее на душе, когда своими глазами увидишь друга... К тому же нужно было размять себе ноги.

Итак, ни слова не говоря, я отправился. Посвистывая, шел я берегом реки; тянулась она у подножия лесистых холмов. На новеньких листиках дробились капельки дождика маленького – святые слезы весенние. Он замирал на два-три мгновенья и вновь продолжал шелестеть себе тихохонько. В зарослях мяукала влюбленная белка. На лугах гуси гагакали. Вовсю расходились дрозды; и синичка твердила свое: тити-пут...

По дороге, в Дориси, я зашел за другим своим другом, нотариусом Ерником: подобно грациям, мы в полном сборе, только когда мы втроем. Я нашел его за рабочим столом. Он торопливо записывал настроенье погоды, свои сновиденья и политические мнения. Рядом была раскрыта книга: «Пророчества Нострадамуса». Когда всю жизнь сидишь взаперти, мысль освобождается и посещает еще чаще равнины мечты и чащи воспоминанья; и хоть не можешь управлять миром, зато читаешь в будущем его судьбу. Все предсказано, говорят; верю, но признаюсь, судьбу я в книге находил только после того, как свершилась она.

Увидя меня, добрый Ерник просиял; и весь дом сверху донизу задрожал от наших раскатов. Вид этого пузатого человечка радует меня. У него лицо рябое, широкие щеки, красочный нос, глаза узкие, живые, хитрые. Он часто бурчит, людей и погоду бранит, но на самом деле он благодушно-насмешлив и еще пуще меня балагурит. Он умеет и любит с видом суровым отпустить не то что красное, а прямо-таки багровое словцо. И приятно глядеть на него, когда, важный, сидит перед бутылкой он, именует бога чревоугодия и бога веселья, распивает и распевает. Довольный моим приходом, он стиснул мне руки в толстых своих лапах – жестких и неуклюжих, но лукавых, как и он сам, лукавых и ловких, когда нужно работать, стругать, вырезать, переплетать. Все в доме сделано им самим; и не все красиво, но все от него исходит; и – красиво ль оно или нет – это его портрет.

По привычке стал он жаловаться на то на се; а я, из духа противоречия, хвалил и то и это. Он лекарь – «тем хуже», я же лекарь – «тем лучше»: вот и вся игра наша. Далее побранил он своих клиентов; и действительно, они не особенно торопились платить: долги некоторых из них вот уж тридцать пять лет как еще не погашены, да и сам он не очень настаивает. Другие если и платили, так только случайно, и чаще всего натурой: корзиной яиц, курой; таков обычай! Проси он деньгами – обиделись бы. Он ворчал, но не противоречил; и мне кажется, что, будь он на их месте, он поступал бы точно так же. По счастью, у него был известный достаток – питательный капиталец. Жил он незатейливо, старым холостяком, за бабочками не бегал, а что касается вкусовых наслаждений, то на этот счет сама природа позаботилась – стол накрыт среди наших полей; виноградники наши, плодовые сады, садки являются обильной кладовой. Тратил он только на книги, но, скупясь, их показывал только издали, не любил одалживать. Кроме того, у него была плутовская склонность глядеть на луну сквозь те стекла, которые недавно из Голландии к нам прибыли. Он устроил себе на крыше между трубами колеблющуюся площадку, откуда он строго наблюдает вертящийся небосвод; он пытается разобрать, не много, впрочем, понимая, букварь судеб наших. Не верит он в это, но любит обманывать себя. Я его понимаю: приятно из окна своего смотреть на огни небесные, что проходят, как по улице барышни; воображать их любовные приключения, кружевные романы, и хоть, может быть, ошибаешься –



все равно это развлекательно. Мы долго обсуждали чудо – кровавую шпагу, которой взмахнул некто в ночь на четверг. И каждый из нас объяснял знамение по-своему; каждый, разумеется, утверждал непоколебимо, что его заключение – правильное. Но под конец оказалось, что ни тот ни другой ничего не видел. В этот вечер звездочет наш как раз задремал на крыше своей. Не так уж скучно, когда в дураках остаешься не один. Мы и повеселели.

И потекли мы в путь, твердо решив ни в чем попу не признаваться. Шли мы полем, разглядывая юные ростки, веретенца розовые кустарников, птиц, начинающих гнезда вить, и ястреба, который колесил над равниной. Вспоминали, смеясь, как некогда мы над Шумилой подшутили. В продолжение нескольких месяцев Ерник и я, мы из сил выбивались, чтобы научить крупного дрозда, посаженного в клетку, песне гугенотовской. Когда нам то удалось, мы выпустили его в поповский сад. Он там основался и сделался гласником для всех других деревенских дроздов. И Шумила, которого их хорал невольно отвлекал от молитвенника, крестился, божился и, уверенный, что сам бес к нему в сад залез, его заклинал и, наконец, не помня себя от гнева, притаившись за своей занавеской, стрелял из пищали в Лукавого. Впрочем, поп не совсем оказался простаком: убив дьявола, он съедал его.

Так, беседуя, мы дошли.

Брев, казалось, спит. Дома дремали на солнце, широко разинув двери. Не было кругом ни одного человеческого лица, кроме разве голой задницы мальчишки, который, стоя на краю канавы, поливал крапиву. Но по мере того, как мы с Ерником приближались к середине села, по дороге, испещренной соломинками и кучками помета, росло словно густое жужжанье раздраженных пчел. И, выйдя на церковную площадь, мы увидели толпу людей, руками взмахивающих, рассуждающих и взвизгивающих. А на пороге двери, ведущей в поповский сад, Шумила, пунцовый от гнева, вопил, показывая кулаки всем своим прихожанам. Мы старались понять, но голоса сливались в гул. «... Червяки, червячки... Мыши и жуки... Cum spiritu tuo...»<sup>35</sup> Шумила кричал:

– Нет! Нет! Не пойду я!

А толпа:

– Врешь! Наш ли ты поп? Ответь, да или нет? Если да (а это так), ты обязан служить нам.

И Шумила в ответ:

– Скоты! Я слуга Господа, а не ваш...

Необычайный был гомон. Шумила, потеряв терпенье, захлопнул железную дверь в лицо им; сквозь решетку просунулись его руки: одна по привычке окропила народ святой водой благословенья, другая же взметнулась, посылая на землю гром проклятия. В последний раз его круглое брюшко и квадратное лицо появилось в окне дома. Тщетно попытавшись перекрыть улюлюкающую толпу, он вместо ответа со злобой показал им язык. На сем ставни закрылись, дом оцепенел. Крикуны повыдохлись, площадь опустела; и, проскользнув между последних зевак, мы могли, наконец, постучаться к Шумиле.

Стучались мы долго. Осел не хотел нам открыть.

– Батюшка! А батюшка!

Наш зов был напрасен. (Мы ради шутки изменили голоса.)

– К чорту! Меня нет здесь.

И так как мы все-таки настаивали, –

– Убирайтесь вон, вон! – загремело изнутри. – Если вы, черти, тотчас не перестанете терзать и ломать мою дверь, я вас так окрещу!..

Он чуть не выплеснул на голову нам свой горшок.

Мы закричали:

– Чего там! Плесни уж вином...

---

<sup>35</sup> С Духом Твоим (лат.).

При словах этих буря чудом утихла. Красная, как солнце, добродушная рожа попа выглянула из окна.

– Э, да это вы! Персик, Ерник! А я-то собирался проучить вас! Безбожные шутники! Что же вы сразу не сказались?

Он сбежал по лестнице, ступени проглатывая.

– Входите, входите. Во имя Отца и Сына... Дайте я обниму вас. Добрые люди, как я рад видеть лица человеческие после всех этих павианов. Присутствовали вы при том, как бесновались они? И пусть беснуются – пальцем не двину. Поднимемся – пить будем. Верно, жарко вам? Хотят заставить меня выйти со Святыми Дарами! Дождь-то ведь собирается. Господь и я – мы вымокли бы как мыши. Разве мы на службе у них? Разве я батрак? Обращаться с человеком Божиим как со скотиной! Изверги! Я создан, чтобы лечить их души, а не поля их...

– Да в чем же дело, – спросили мы, – что морочишь ты нас? Кого ты бичуешь?

– Идемте наверх, – сказал он. – Там нам будет удобнее. Но сначала выпить надо. Мочи нет, задыхаюсь!.. Как вы находите вино это? Оно, что и говорить, не из скверных. Ну вот: поверите ли вы, друзья мои, что эти обезьяны нороят заставить меня служить ежедневно молебствие! И все из-за жуков.

– Каких жуков? У тебя они в мозгу жужжат; ты бредишь, Шумила!

– Какой там бред!.. – воскликнул он в возмущенье. – Нет, это уж слишком!.. Я – жертва их прихотей буйных, и меня же зовут сумасшедшим!

– Тогда объясни, объясни толком!..

– Вы меня оба загоните в гроб, – молвил поп, утирая лоб со злобой. – Как могу я найти покой, когда ко мне и к Богу, к Богу и ко мне лезут день-деньской с дурацкими просьбами? И заметьте (ох, задохнусь, чего доброго!), заметьте, что эти язычники о будущей жизни не думают вовсе, не моют души, как и ног не моют, а меж тем от меня требуют то ненастья, то вёдра. Я должен приказывать солнцу, луне: «Немного тепла, теперь – влаги, – не слишком, – теперь солнышка, мягкого, нежного, мутного, теперь ветерка – но не надо морозов, пожалуйста, – полей-ка еще, омочи виноградник мой, Господи; стой, будет тебе отливаться... Теперь хорошо бы и чуточку зноя...» Слушая этих разбойников, можно подумать, что Богу одно только и остается: покорно труситься вокруг колодца (и, таким образом, поднимать в нем уровень воды), уподобляясь ослу, которому садовник догадливый подвязал спереди пучок сена. И притом (это лучше всего) они тянут в разные стороны: один дождя просит, другой – солнца. Приходится взять за бока и святых. Там, в вышине, тридцать семь из них доставляют влагу. Идет во главе, с копьём в руке, св. Медард, великий водолей; на другой же стороне – только двое: св. Раймунд и св. Дион, проясняющие небосклон. Но на помощь еще святые спешат: Влас гонит ветер назад, Христофор отстраняет град, Валерий – бури глотает, Аврелий – гром рассекает, Клар – синеву прокладывает. На небесах раздор. Господа эти важные дубасятся. И вот святые Сузанна, Елена и Схоластика вцепились друг другу в волосы. Не знает Господь, какого слушаться голоса. И если Бог не знает ничего, – что может служитель его? Бедняга! Впрочем, не мое это дело. Я здесь только затем, чтобы молитвы передавать. Исполнение же их зависит от хозяина. Посему я бы ничего и не сказал (хоть, между нами говоря, мне противно такое идолопоклонство: Иисусе кроткий, ужель ты напрасно страдал?), но оказывается, что негодяи эти требуют моего слова в ссорах небесных. Для них святой крест и я сам – только талисман, охраняющий их поля от всяких вредителей. Крыса ли грызет зерно в амбарах, – сейчас крестное шествие, заклинанья и молитвы к св. Никею. День был морозный, декабрьский. На плечах снегу целый мешок. Я потом разогнуться не мог. После – гусеницы: молитвы к св. Гертруде, крестные шествия. А на дворе март. Слякоть, снег талый, дождь ледяной; простужаюсь, конечно, кашляю до сих пор. А теперь – жуки. Пожалуйста – шествие! Свинцовое солнце, тучи пузатые и черно-синие, словно мясные мухи, вдали глухое рокотанье грома, вспотею хорошенько, потом вымокну, – а хотят ведь, чтоб я обошел все их плодовые сады, распевая стих: «Ibi ceciderunt разносители

беззакония, *atque expulsi sunt* и не могли *stare*»<sup>36</sup>. Но ведь изгнан-то буду, вероятно, я! «*Ibi cecidit*»<sup>37</sup> Шумила, священник». Нет, нет, нет, благодарю! Я не спешу. Лучшая шутка под конец надоедает. Мне ли, скажите на милость, давить червяков? Если бездельникам этим мешают жуки, пускай сами отжучиваются! Трудись, подмоги не требуй, – поможет тебе небо. Однако удобно было бы сидеть сложа руки и говорить попу: сделай это, сделай то. Нет, я буду поступать как хочет Бог и как я сам хочу: я пью. Пью. Делайте то же. Они же пусть осаждают мой дом. Осада осадой, а я как сяду, засяду и зада со стула не сдвину. Будем пить, друзья.

\* \* \*

Он пил, ослабев после этой бури красноречия. А мы двое, подняв стаканы, глядели сквозь них на небо и на свою судьбу: и то и другое казалось розовым. Настала тишина. Только слышно было, как Ерник щелкал языком да как хлюпало вино в глотке у Шумилы. Он пил залпом, а Ерник потихоньку. Когда струя опрокидывалась вглубь, Шумила всякий раз кричал, поднимая к небу глаза. Ерник долго разглядывал свой стакан, сверху, снизу, в тени, на солнце, обнюхивал его, облизывал и взглядом и языком. Я же смаковал вместе и питье и пьющих. Их удовольствие сообщалось мне, и я любовался им. Небо и глаза меж собой друзья; их союз – наслаждение.

Однако это не мешало мне быстро и ловко хлопнуть стакан за стаканом. И все трое ровно шли в ногу, никто не отставал. Но кто подумать бы мог? Когда каждый из нас подвел итог, оказалось, что на целый глоток опередил всех нотариус.

После того как эта розовая роса нежно увлажнила пищевод и освежила жизненные силы, души наши и лица томно расцвели. Облокотившись на подоконник, мы глядели с умилением, с восхищением блаженным на юную весну, на веселое солнце, ласкающее первый пушок тонких тополей, на излучистую речку в долине среди полей, резвящуюся, как собачонка; и оттуда доносились звонко стук колотушек, смех прачек, кваканье уток-болтушек. И Шумила, прояснившись, говорил, подергивая то меня, то Ерника за рукав:

– Как сладко жить на этой земле! Возблагодарим Отца Небесного за то, что Он нам всем троим дал здесь родиться. Глядите! Что может быть прелестней, улыбчивей, милей, умильней, соблазнительней, пухлее, сочнее, изящнее! Слезы навертываются на глаза... Просто хочется съесть его, мерзавца!

Мы, кивая, поддакивали, как вдруг он снова разгорячился:

– И как это его угораздило создать на земле животных таких! Он был прав, конечно. Он, полагать надо, знает, что делает... Но я предпочел бы, чтоб он был не прав и чтоб паства моя пошла к чорту: погостила бы, что ли, у Инкосов<sup>38</sup> или у султана турецкого – мне все равно где, – только бы здесь не оставалась.

Мы сказали ему:

– Шумила, люди везде одинаковы. Что те, что другие. Не стоит менять.

– Значит, – продолжал он, – были сотворены они не для того, чтобы быть мною спасаемы, а для того, чтобы я сам мог спастись, горемычничая на земле. Согласитесь, кумы, согласитесь, что худшее ремесло – это ремесло сельского попа, который выбивается из сил, вбивая священные истины в каменные лбы этих дурней. Тщетно кормишь их соком Евангелия, тщетно в рот ребятишкам суешь сосец Катехизиса: молоко у них тут же выливается из носу; нуждаются эти зобища в более грубой пище. Пожуют они первый слог молитвы, пропоют псалом по-ослиному, но не прочувствуют ни слова единого. И сердце, и желудок остаются пустыми. Они просто

---

<sup>36</sup> Псалом 36: «Тамо падоша вси делающии беззаконие, изриновени быша и не возмогут стати» (прим. М. Лозинского: Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. Т. 7. С. 44).

<sup>37</sup> Тамо паде.

<sup>38</sup> Ошибка Набокова: у Роллана инки.

язычники, как всегда и были. Напрасно в продолжение многих веков мы изгоняем из ручьев, из лесов, из полей духов и фей; напрасно мы дуем (вот-вот щеки и легкие лопнут), задуваем снова и снова эти адские факелы для того, чтоб во мраке выделялся резче единственный свет, свет Бога истинного. Никогда не могли мы убить этих бесов земных, суеверие гнусное – душу вещества. Старые дубовые пни, черные валуны продолжают скрывать это дьявольское отродье. А сколько из них мы разбили, подрезали, искрошили, сожгли, искоренили! Пришлось бы перевернуть каждую кочку, каждый камень, всю землю Галлии, матери нашей, чтобы окончательно оторвать беса, который вцепился ей в тело; но и этого мало. Природа проклятая проскальзывает у вас меж пальцев; вы ей лапы отрубаете, а у нее вырастают крылья. На месте каждого уничтоженного бога появляется десять новых. Всё – бог, всё дьявол для этих варваров. Они верят в оборотней, в белого коня безглавого и в черную курицу, в исполинского змия, в эльфов и в колдующих уток... Вообразите же, какой должен иметь вид среди всех этих искалеченных чудовищ, вырвавшихся из ковчега Ноева, кроткий Сын Марии и плотника благочестивого!

Ерник отвечал:

– Кум, «око чужое око видит, но не видит себя самого». Твои прихожане безумны, нет слов; но ты сам – ты здоров? Поп, не тебе говорить; ты как они поступаешь точь-в-точь. Неужели святые твои лучше их эльфов и фей? Недостаточно было иметь одного Бога в трех или трех в одном, да еще богиню-мать; пришлось населить ваш Пантеон кучкой божков в штанах и в юбках, дабы заместить тех, которых вы разбили, и заполнить чем-нибудь опустевшие ниши. Но, Боже правый, боги эти не стоят старых! Темно их происхождение. Отовсюду вылезают, как улитки, кривобокие боги, жидкие, вшивые, неумытые, струпьями покрытые, в ранах и в шишках. Один выставляет вместо руки окровавленный обрубок, а на бедре у него лоснящаяся язва; у другого в виде изящной шляпы – всаженный топор. Этот прогуливается, держа под мышкой свою собственную голову; тот с гордостью вытряхивает кожу свою, как рубашку. Но зачем идти так далеко: что сказать, поп, о святом, восседающем в церкви твоей, о столпнике Симоне, который сорок лет простоял на одной ноге, подобно цапле?

Шумила вздрогнул и воскликнул:

– Стой, язычник. Брани, коль хочешь, других святых. Я не обязан защищать их. Но этот – мой святой, мой... я у него в доме. Мой друг, будь вежлив.

– Так и быть (я твой гость). Оставим его стоять на лапке; но скажи мне, что думаешь ты об аббате Корбини, утверждающем, что у него есть в бутылках молоко Пресвятой Девы; и как тебе нравится господин Сермидель<sup>39</sup>, который однажды, страдая от поноса, употребил в виде промывательного средства раствор мощей в святой воде?

– Что думаю? – сказал Шумила. – Думаю, насмешник, что, если б у тебя болел живот, ты, пожалуй, поступил бы так же. Что же касается аббата Корбини, то и он, и вообще все эти монахи, чтоб только переманить наших покупателей, торговали бы молоком архангельским, сливками ангельскими и маслом серафимским. Не будем говорить о них. Монах и поп что собака и кот.

– Итак, Шумила, не веришь ты в мощи?

– В эти – нет. Но у меня есть другие: св. Диетрины ключица, очищающая мочу и угреватые лица. А также лобная кость св. Ступа; благодаря ей бес из брюха овечьего прочь ступает. Не смей смеяться. Ты что, Ерник, ерзаешь? Или вправду не веришь? У меня есть свидетельства, на пергаменте писанные, слепец сомневающийся. Пойду принесу их. Увидишь, увидишь их подлинность!

– Сиди, сиди, оставь свои бумаги в покое. Ведь и ты сам не веришь. Вижу я – нос твой движется. Какая б она ни была, откуда бы ни пришла, – кость всегда только кость, и тот, кто боготворит ее, – идолопоклонник. Всякой вещи свое место: место мертвых на кладбище. Я

---

<sup>39</sup> У Роллана де Сермизель.

же верю в живых, верю, что светит солнце всюду, что сам я пью и рассуждаю – и рассуждаю отменно, верю, что дважды два четыре, что земля наша – неподвижное светило, потерянное в пространстве крутящемся; верю в нивернейца Гви Кокиля и могу, если хочешь, тебе наизусть прочесть с начала до конца его сборник Обычаев; верю также тем книгам, сквозь которые наука и опыт человеческий просачиваются по капле; и сверх всего верю в свой рассудок. И (само собой разумеется) верую в слово Божие. Нет человека осторожного и мудрого, который бы сомневался в истине его. Ты доволен, поп?

– Нет! – воскликнул тот, не на шутку раздраженный. – Кто ты: кальвинист, еретик, гугенот? Бранишь Библию, учишь мать свою, Церковь, думаешь (змеиный выкидыш!) обойтись без отца духовного?

Ерник, рассердившись в свою очередь, заявил, что он не позволит, чтоб его считали протестантом, что он истинный француз, истый католик, но притом человек сознательный, у которого два крепких кулака, да и ум не однорукий, что в полдень он видит без очков, зовет дурака дураком, а его, Шумилу, тремя дураками в одном или одним в трех (как ему больше нравится) и что, наконец, он, почитая Бога, почитает человеческий разум, лучший луч этого великого светила.

\* \* \*

На сем они оба замолкли и стали пить, ворча и дуясь, облокотившись на стол спиной ко мне. Я же расхохотался. Тогда они заметили, что я еще ничего не сказал, и я внезапно сам заметил это. До этой минуты я был занят тем, что наблюдал их и слушал, развлекаясь их доводами, отражая на лице своем каждое их выражение, повторяя про себя каждое слово, беззвучно шевеля губами, как кролик, жуящий лист капусты. Но вот эти страстные спорщики потребовали, чтобы я высказался за одного из них.

– Стою за обоих, – ответил я, – и еще за несколько других. Мало ли кто рассуждает о том же? Чем больше безумцев, тем больше смеха, чем больше смеешься, тем мудрее становишься. Когда, друзья мои, вам хочется точно узнать все, что вы имеете, начинаете вы с того, что на листе выписываете ряд чисел; потом складываете их. Отчего бы таким же образом не соединить звенья ваших воззрений? Быть может, все вместе они составляют истину? Истина вам кукиш показывает, когда вы пытаетесь ее схватить сразу. Да, дети мои, все на свете объясняется по-разному, и объяснений много. Я принимаю всех ваших богов, и языческих, и христианских, а также – бога разума.

При этих словах они оба, разгневавшись, обозвали меня скептиком и афеєм<sup>40</sup>.

– Что же вам нужно? Что вы хотите от меня? Если ваш Бог или ваши боги, закон или законы приходят ко мне, я их принимаю. Я – гостеприимен. Господь мне очень нравится, а святые его – еще больше. Я люблю их, почитаю, улыбаюсь им... И они, добрые люди, – тоже не прочь со мной пошутить. Но должен признаться, что одного Бога мне недостаточно. Что поделаешь? Я жаден – а меня заставляют поститься. У меня есть и свои святые, феи и духи, небесные и земные, древесные и водяные; я верю в разум. Верю также безумцам, ясновидящим да колдунам, люблю воображать, как земля качается среди облаков, и я бы желал беспрестанно трогать, разбирать и вновь пускать в ход чудесные пружинки и колесики мировых часов. А также люблю слушать, как звенят небесные сверчки, круглоглазые звездочки, люблю примечать в луне человека с вязанкой хвороста... Вы пожимаете плечами? Вы – вы стоите за порядок. Что ж, порядок имеет свою цену. Но нужно платить. Порядок значит не делать того, что хочешь, и делать то, чего не хотел бы: протыкать себе один глаз, чтобы лучше видеть другим, вырубать леса, чтобы проводить большие прямые дороги. Это удобно, удобно. Но, Господи, как

---

<sup>40</sup> Афей (атей) – атеист.

это некрасиво! Я старый галл; много вождей, много законов, все братья, и каждый для себя. Верь мне, не верь, но не мешай мне поступать как я хочу – верить или не верить. Почитай разум. А главное, друг мой, не трогай богов. Они кишат, кипят, льются сверху, снизу, над головой, из-под ног; земля от них раздулась, как свинья поросая<sup>41</sup>. Я их всех уважаю. И я вам позволяю мне привести и других. Но вы не сможете отнять у меня ни одного и не заставите меня ни одного разжаловать, – если, разумеется, мерзавец не слишком злоупотребит моей доверчивостью.

Ерник и поп спросили жалостливо, как я нахожу путь свой среди всей этой сумятицы.

– Нахожу его без труда, – сказал я. – Все тропинки мне знакомы, я гуляю там свободно. Когда я иду лесом из Шаму в Везлэ, неужели вы думаете, что мне нужна большая дорога? Я иду с закрытыми глазами, путями облавщиков. И если я, может быть, и опаздываю, зато прихожу домой с полной сумой. Все в ней на своем месте, все разложено бережно – рядком да под ярлыком. Бог – в церкви, святые – в часовнях; феи – среди полей, разум – за моим лбом. Живут они в согласии: у каждого есть подруга, работа и дом. Они не подчинены неограниченному правителю; но, подобно жителям Берна и соседям их, образуют между собой союзы. Некоторые из них слабее других. Но не гнушайся ими. Против сильных иногда нужны слабые. Конечно, Господь могущественнее фей. А все же и он должен быть с ними ласков. И он один не сильнее, чем все вместе взятые. Сильный всегда найдет более сильного, который и проглотит его. Глотатель проглатывается. Да... Я, видите ли, твердо верю, что все-таки *самого великого Господа Бога* еще не видал никто. Он очень глубоко, очень высоко, совсем в глубине, совсем в вышине. Как и наш король. Мы знаем (слишком хорошо знаем) его людей, слуг и солдат. Но он сам остается в своем Лувре. Сегодняшний Бог, тот, которому все молятся, это, так сказать, господин Кончини... Ладно, ладно, не бей меня, Шумила. Я скажу, чтобы тебя не раздражать, что это не он, а наш добрый герцог, господин Нивернейский (Господь его храни). Я почитаю его и люблю. Но перед властелинами Лувра он все же уползает во мрак, и хорошо делает. Да будет так.

– Да будет так! – воскликнул Ерник. – Но, увы, это не так. «В отсутствие господина слуга зазнается». С тех пор как умер наш Генрих и королевство обабилося, принцы забавляются прялкой, прядильщицей. «Забавы принцев радуют только их самих». Эти воришки суют нос в великий садок и опустошают сокровищницы Арсенала, полные золота и грядущих побед, казну, оберегаемую господином Сюлли. Гряди, Мститель, и заставь их выплюнуть душу вместе со съеденным золотом!

К этому мы еще добавили многое, но передать слова наши было бы неосторожно. Мы стройно пели одну и ту же песнь. Сделали мы несколько вариаций на тему принцев в юбках, лжепророков в туфлях, жирных прелатов и монахов-бездельников. Я должен сказать, что Шумила в данном случае нашел самые лучшие, самые яркие созвучия. И наша троица продолжала в полном согласии, переходя от приторных к ядовитым, от лицемерных к слепо верующим, перебирая ханжей всевозможных, безумных и полоумных, всех тех, которые, желая воспитать в нас любовь к Богу, думают вселить ее в тело ударами дубины или кинжала. Бог не погонщик ослов: не палкой он действует. А кто безбожничает, – пусть идет к чорту. Нужно ли еще мучить и жечь его при жизни? Оставьте нас в покое. Пусть живет каждый, как хочет, во Франции нашей и дает жить ближнему своему. Христианин из всех самый нечестивый: он не понимает, что Христос был распят не только за него. Добрый и злой, в конце концов, похожи друг на друга как две капли воды.

После чего, устав говорить, мы запели в три голоса, затянув хвалебную песню в честь Вакха, единственного бога, в бытии которого никто из нас не сомневался. Шумила громко объявлял, что его он предпочитает всем тем, которых славят мерзкие монахи Лютера и Кальвина да всякие косноязычные проповедники. Вакх же отчетливый, осязаемый бог, достойный

<sup>41</sup> Поросая или поросная – беременная.

уважения, бог из древнего рода французского... – что говорю? – христианского, дорогие братья: разве Иисус не бывает изображен на некоторых старинных картинах в виде Вакха, попирающего грозди? Выпьем же, други, за него, за Икупителя нашего, христианского Вакха, смеющегося Иисуса, чья пурпурная чудная кровь струится под зеленью наших холмов, вносит благоухание в виноградники наши, в душу и в речь, и льется и льется – сладчайшая, любвеобильная, милостивая, невинно-насмешливая, льется через ясную Францию... Да здравствует радость и разум!

Но пока мы чокались, прославляя французский веселый здравый смысл, который во всем избегает крайности («между двух мнений садится мудрец»... а потому садится он часто на пол), пока мы разглагольствовали, грохот закрываемых дверей, стук грузных шагов на лестнице, заглушенные восклицания («Ох, Иисусе Христе, ох, Господи!») и тяжелые вздохи известили нас о нашествии ключницы попа, по прозванию Попойка.

Она отдувалась, утирая свое широкое лицо уголком передника и восклицая:

– Скорей, скорей. На помощь, батюшка!

– В чем дело, дура ты этакая? – спросил тот нетерпеливо.

– Они близятся, близятся. Это они!

– Да кто же? Гусеницы, гуськом ползущие через поля? Я тебе уже сказал: не смей напоминать мне об этих язычниках – моих прихожанах.

– Но они вам угрожают!

– Чем? Судом? Мне-то что! Я готов. Пойдем.

– Ах, сударь, если б это было так!

– В чем же дело? Говори.

– Они там, у Великого Пика, – колдуют, заклинания творят и распевают: «Покидайте, мыши и жуки, покидайте поля, забирайтесь к попу в сад и в погреб».

При этих словах Шумила так и подскочил.

– Ах, проклятые! Жуки в моем плодовом саду! И в моем погребе! Ах, они режут меня! Они уже не знают, что выдумать! Ах, Господи, ах, святой Симон, придите на помощь к вашему служителю...

Мы, смеясь, попробовали было его успокоить.

– Смейтесь, смейтесь, – крикнул он. – Вы на моем месте, умники, не смеялись бы столько. Заслуга невелика: будь я в вашей коже, я бы смеялся тоже. Но хотел бы я видеть, как приняли бы вы подобное известие, как стали бы накрывать стол, готовить комнату для принятия этих гостей. Их жуки! Какая гадость. А мыши... Не хочу, не хочу! Это чорт знает что такое...

– Но позволь, – сказал я, – разве ты не священник? Отклони заклинанья их. Разве ты не во сто раз умнее прихожан своих? Разве ты не сильнее их?

– Эх, эх. Как знать! Великий Пик очень хитер. Ах, друзья мои! Ах, друзья! Какая новость! Какие разбойники! А я-то был так спокоен, так доверчив. Ах, ничего нет верного на свете... Один Бог велик. Что могу я сделать? Я пойман. Они держат меня. Поди, милая, поди скажи им, чтоб они остановились. Впрочем, нет. Я сам иду, сам иду, – ничего не поделаешь. Ах, мерзавцы! Когда, в свою очередь, я буду в предсмертный их час властвовать над ними!.. А пока (*Fiat voluntas...*<sup>42</sup>) я должен исполнять все их прихоти. Ну что ж, надо выпить чашу. Я выпью ее. Это не первая...

Он встал. Мы спросили:

– Куда же ты собираешься?

– В крестовый поход, – ответил он, – против майских жуков.

---

<sup>42</sup> Да будет воля (лат.).



## Праздний весенний день

<Апрель>

Апрель, тонкая дочь весны, худенькая девонька, я вижу твои глаза прелестные, я вижу, как цветут грудки твои крошечные на ветке абрикосовой, на ветке белоснежной, чьи заостренные розовые почки солнце нежит утром свежим, под моим окном, в саду моем. Что за утро славное! И как отрадно думать, что увидишь, что видишь уже этот день. Я встаю, руки заламываю: о приятный, хрустящий отзвук труда долгого, упрямого!

Мы хорошо поработали, я и помощники мои, за последние две недели. Наверстать часы принужденной праздности мы хотели – опилки так и летели, и дерево пело под стругом. Но, увы! эту жажду труда не утоляют заказы. Нам приходится туго. Покупателей мало; иной-то берет, да платить не спешит, выдыхаются кошелки, истекают кровью сокровищницы; но жизни все еще много в наших мышцах и в наших полях. Земля плодородна. Из нее сотворен я, и на ней я живу. *Ara, ora et labora*<sup>43</sup>. Королем будешь скоро; все мы короли в Клямси или же станем ими, чорт возьми: ибо я слышу с утра, как шумят плотины, скрежещут мехи кузнецов, пляшут звонкие молоты на наковальне, топоры мясников рубят кости на склизкой доске, фыркают лошади на водопое, поет и гвозди вбивает сапожник; слышу скрип колес на дороге, стук башмаков деревянных, шелканье бичей, болтовню прохожих, голоса, колокола, гаканье города работающего, приговаривающего: «*Pater noster*, месим тесто, месим *panem nostrum*»<sup>44</sup> ежедневный, покамест сам его не дашь. Это все-таки верней».

А над головой моей – милое небо синей весны, белые облака, гонимые прихотью ветерка, и солнце юное, и воздух прохладный.

И мне чудится: молодость воскресает. Она возвращается стремительно из глубины времен, чтоб снова свить, как ласточка, гнездо свое под навесом старого сердца, ожидающего ее.

Дивная, дальняя, как радуется твое возвращенье! Радуетесь ты гораздо больше, гораздо полнее, чем в начале жизни...

В это мгновенье скрипнул жестяной петушок на крыше, и услышал я визгливый голос моей старухи, что-то кричащей, кого-то зовущей – быть может, меня. Я старался не слушать, – но, увы, пугливая ласточка молодости исчезла. Ах, подлый петушок!

И вот яростная моя подруга, приблизившись, оглушает меня своей вечной песнью:

– Что ты здесь делаешь? Что валандаешься? Верхогляд проклятый! Чего встал, разинув пасть, подобно колодцу? Ты птиц небесных пугаешь. Чего же ты ждешь? Того ли, что жареный жаворонок или плевков ласточки попадет тебе прямо в рот? А я-то пока убиваюсь, потом обливаюсь, из сил выбиваюсь, как старая кляча, угождая тебе, урод!

– Что же, бедная женщина, таков жребий твой!

– А вот нет, нет! Всевышний не предполагал, что на нас ляжет вся работа, а что Адам, заложив руки за спину, пойдет себе гулять беззаботно. Я хочу, чтоб он тоже мучился, и хочу я, чтоб он скучал. Сам Бог пришел бы в отчаяние, если б было иначе, если б Адам веселился. Но, по счастью, я здесь, и мне, мне поручено исполнять его святые желанья. Перестанешь ли ты смеяться? Работай, работай, коль хочешь быть сытым. Он словно не слышит! Ну, пошевеливайся...

Я отвечаю с кроткой улыбкой:

– Да, разумеется, моя красавица. Грех сидеть дома в такое прекрасное утро.

Возвращаюсь в мастерскую, кричу подмастерьям:

---

<sup>43</sup> Паши, молись и трудись (*лат.*).

<sup>44</sup> Отче наш... хлеб насущный (*лат.*).

– Друзья, мне нужна гибкая, гладкая, твердая доска. Посмотреть иду, не найду ли такую на складе у Рейка. Эй, Конек, Шутик! Пойдемте выбирать.

Мы втроем вышли. А старуха моя все кричала. Я сказал:

– Пой, милая, пой.

Но это был излишний совет. Что за музыка! Я стал свистеть, чтобы дополнить ее.

Добрый Конек говорил:

– Что вы, хозяйка, можно подумать, что мы отправляемся в длинное путешествие! Через четверть часа будем дома.

– Этому разбойнику, – ответила она, – никогда нельзя довериться.

\* \* \*

Было девять часов. Мы шли в Беян, – путь недолог. Но на мосту Бевронском мы остановились (это вежливости долг), чтобы приветствовать Фиту, Треску и Гадюку, которые начинали день с того, что глядели на протекающую воду. Побранили, похвалили погоду, потом пошли дальше, как и полагается. Люди мы добросовестные, выбираем путь кратчайший, не разговариваем с встречаемыми (правда, что ни одного и не было). Но только живо воспринимая красоту природы, любуешься небом, первыми весенними ростками, – а там в овраге цветет яблоня, там скользнула ласточка, – останавливаешься, рассуждаешь о направлении ветра... На полпути вспоминаю вдруг, что я еще сегодня не видел Глаши. Говорю:

– Идите себе. Мне нужно сделать крюк. У Рейка я вас догоню.

Когда я пришел, Марфа, дочь моя, занималась тем, что мыла, воды не жалея, лавку свою, но это не мешало ей болтать, болтать, болтать то с тем, то с другим, с мужем своим, с приказчиками, да с Глашей, да с двумя-тремя зашедшими кумушками, хохотала она во все горло и не переставала болтать, болтать, болтать. Кончив, она с размаху выплеснула ведро на улицу. Я стоял близ порога, любуясь ею (у меня и сердце и глаза радуются всякий раз, как я гляжу на это яркое мое создание), и таким образом поток воды хлестнул меня по ногам. Она только пуще стала смеяться, но я хохотал еще громче. Вот она, смеющаяся галльская красавица! Я видел ее черные волосы, полускрывающие лоб, густые твердые брови, горящие глаза, и губы, горящие еще больше, красные, как пламя угля, сочные, как спелые сливы, и голую шею, и голые руки, и решительно скрученную юбку.

– Ты вовремя подоспел, – заметила она. – Все ли ты получил, по крайней мере?

Я отвечал:

– Почти все; впрочем, я воды только тогда боюсь, когда она в моем стакане.

– Входи, – сказала Марфа, – входи, Ной, не взятый волной, Ной-виноделец.

Вхожу, вижу Глашу в коротком платьице, у прилавка притаившуюся.

– Здравствуй, булочка!

– Бьюсь об заклад, – сказала Марфа, – что я знаю, почему ты так рано дом свой покинул.

– Ты не можешь проиграть. Ты хорошо знаешь причину, она тебя вскормила.

– Так, значит, – мать?

– Вестимо!

– Как трусливы мужчины!

Как раз входил Флоридор, и это словцо ему брызнуло прямо в лицо. Он насупился.

Я же сказал:

– Это мне предназначено. Не обижайся, друг.

– Есть и для двух, – сказала она. – Раздели, не жадничай.

Тот все хранил вид задетого достоинства. Он истинный мещанин. Он не допускает, чтобы могли смеяться над ним; и когда видит нас вместе, он косится, наблюдает, пытливый и подозрительный, стараясь угадать, какие слова выйдут из наших смеющихся уст.

Бедные мы простаки! Как нас чернят!

Я сказал бесхитростно:

– Ты шутишь, Марфа; я знаю, что Флоридор хозяин в доме своем. Он не раздавлен, как я, под чужим башмаком. Его Флоридориха кротка, скромна, безвольна, безмолвна, послушна, добра. Она унаследовала от своего бедного, забитого отца эту робость и покорность...

– Долго ли ты еще будешь смеяться над людьми, – заметила Марфа, которая, опустившись на колени, снова принялась тереть (я же тебя, я же тебя, тру, тру поутру), тереть стекла и половицы с яростной радостью.

Она работала, я глядел на нее, – и мы оба между тем вели и трезвые и резвые речи. А в дальнем углу лавки, которую Марфа наполняла движением, бодрым разговором, всей крепкой жизнью своей, – притаился сумрачный Флоридор, ужаленный, накрахмаленный. Он в нашем обществе никогда не чувствует себя свободным. Сырые словечки, полнокровные галльские шутки коробят его, оскорбляют в нем чувство достоинства. Он не может понять жизнерадостных. Сам он маленький, бледненький, худенький, хмурый; он любит жаловаться по всякому поводу. Его шея куриная была полотенцем обернута, он казался встревоженным, глаза его бегали.

Наконец он сказал:

– Мы здесь на ветру словно на башне стоим. Все окна открыты.

Марфа, не переставая тереть, отвечала:

– Что же делать, мне душно.

Флоридор попробовал было устоять, но не выдержал (по правде сказать, ветерок был свеженький) и вышел разгневанный.

Та подняла голову и сказала добродушно-насмешливо:

– Хотел бы распечь, да пошел печь.

Я хитро спросил, продолжает ли она жить в мире и согласии с мужем своим. Она и не думала отрицать это. Ах, упрямая! Если уже она совершила ошибку, можно четвертовать ее – она не сознается в ней.

– Отчего бы и не быть согласию? – сказала она. – Он мне приходится по вкусу.

– Еще бы. Я сам бы отведал. Но у тебя рот большой; ты скоро съедаешь пирожок такой.

– Нужно удовлетворяться тем, что есть.

– Хорошо сказано. А все-таки на месте пирожка я, признаюсь, не совсем был бы спокоен.

– Отчего? Ему бояться нечего, я честно торгую. Но пускай и он сам поступает как должно.

Измени мне, попробуй-ка, брат. В тот же день я скажу: «Ага, ты рогат». У каждого доля своя. Это – мое, это – твое. Итак, исполняй свой долг.

– Исполняй до конца, – я добавил.

– Конечно. Посмел бы он жаловаться, что девица слишком прекрасна.

– Ах, чертовка. Если не ошибусь, – ты отвечала за всех, когда гусь принес приказ от небес.

– Я знаю немало гусей, но только бесперых. Какого ты разумеешь?

– Разве ты не слыхала, – спросил я, – рассказа о гусе, которого кумушки к Отцу небесному послали. Они просили, чтоб детишки, только-только вылупившись, уж могли разгуливать... Отвечал Господь: что же, я не прочь (он любезен с дамами). Но взамен поставлю я условие маленькое: чтоб отныне жены, девы, девочки спали б одинешеньки... С посланьем этим верный гусь спустился с неба. К сожаленью, там я не был и не видел, как он прибыл... Но я знаю, что посланник наслышался слов таких...

Марфа, сидя на корточках, остановилась и разразилась неистовым хохотом. А потом, толкая меня, с ног сшибая, воскликнула:

– Старый болтун! Горшок с горчицей, болтун, слюняй, замуслюга<sup>45</sup>! Ступай, ступай вон отсюда. Пустомеля! И на что ты годишься? Теряю с тобой только время. Ну, убирайся. И уведи с собой собачонку эту бесхвостую, Глашу твою. Она все у меня в ногах путается; только что я выгнала ее из пекарни, а вот она снова, кажется, сунула лапки в тесто (так и есть, нос весь белый). Отправляйся-ка вместе. Дайте мне, бесенята, дайте мне поработать спокойно, а не то я пойду за метлою...

Она нас вытолкала. Мы пошли, очень довольные, направляясь к Рейку. Немного только замешкались мы на берегу Ионны. Глядели, как удят, советы давали. И очень радовало нас, когда нырял поплавок или выпрыгивала уклейка из зеленого зеркала. Но Глаша, видя на крючке червяка, который корчился от смеха, сказала мне с детским отвращением:

– Дедушка, ему больно, он будет съеден.

– Ну конечно, деточка, конечно, – отвечал я. – Для него это только маленькая неприятность. Не нужно думать об этом. Подумай лучше о том, кто съест его, о блестящей рыбе. Она скажет: «Как вкусно!»

– Но если бы ты, дедушка, был на месте червячка?

– Ну что ж, я бы тоже сказал: «Как вкусно! Счастливый мерзавец! Как везет тому молодцу, который меня глотает». Вот, моя девочка, вот каким образом удается дедушке быть довольным всегда. Я ли ем, меня ли едят, все хорошо. Нужно только разместить это у себя в голове. Все хорошо, все вкусно, говорит бургундец.

Так рассуждая, мы незаметно дошли (еще не было и одиннадцати). Конек и Шутик мирно ждали, вытянувшись на бережку; последний, прихвативший на всякий случай удочку, поддразнивал рыбку. Вошел я в сарай. Когда нахожусь среди прекрасных деревьев, простертых, совсем оголенных, и запах приятный опилок меня опьяняет – тогда все равно мне: пусть годы и воды текут, протекают. Без конца я их нежные бедра ласкаю. Дерево больше люблю я, чем женщину. У всякого есть своя страсть. Уж я выбрал, а все не могу оторваться. Если б я был у султана и видел на рынке избранницу сердца, среди двадцати обнаженных прекрасных рабынь, неужели любовь помешала бы мне, мимоходом, глазами ласкать красоту остальных? Нет, я не глупец. Зачем же Господь даровал мне глаза ненасытные? Для того ль, чтоб держать их закрытыми? Нет, я распахнул их, как двери широкие. Все входит, ничто не теряется. Я, испытанный, зоркий, умею сквозь хитрость убогую женщины мысли, желанья ее разглядеть; и также под гладкой иль грубой корою деревьев моих разгадать я могу затаенную душу, которая выглянет из скорлупы, – если я захочу быть насадкой.

Пока я решаюсь, нетерпеливый Конек сердится (он глотает, не глядя; только мы, старики, умеем смаковать) и переругивается со сплавщиками, которые разгуливают на том берегу или же стоят, оцепенев, как цапли, на мосту Беяна. В обоих предместьях нравы те же. По целым часам, раздавливая ягодицы о перила, прохлаждаешься на реке, а то освежаешь рыло в соседнем кабаке. Обычная беседа между жителем <Б>еврона и жителем заречным состоит из прибауток. Эти господа обзывают нас мужиками, бургундскими улитками и навозными жуками. Тогда мы стреляем тоже, именуя их жабами и рыбьими рожами. «Мы», говорю, ибо, когда молебствие слышу, я по совести должен сказать свое: *Ora pro nobis*<sup>46</sup>. Да, вежливость раньше всего. Коль с тобой говорят – отвечай.

Честь честью мы перекинулись словечками прихотливыми, и только тогда (вот те на, колокольный звон: это полдень. Я потрясен. Погоди, время, погоди. Спешат песочные часы твои), только тогда я прошу добрых сплавщиков помочь нам тележку нагрузить и отвезти в Б<е>врон дерево, выбранное мной.

Они много кричат:

---

<sup>45</sup> Слюнявый человек (Словарь Даля).

<sup>46</sup> Молись за нас (лат.).

– Персик проклятый! Ты не стесняешься!

Они много кричат, но слушаются. Они меня любят, в сущности. Домой мы неслись во весь дух. С порогов лавчонок глядели люди, любуясь стараньем нашим. Но когда близ Б<е>врона упряжка моя на мосту очутилась и нашла трех других молодцев неподкупных, Фиту, и Треску, и Гадюку, все так же склоненных над тихо текущей водой, то вместо ног языки заработали. Одни презирали других за то, что они какое-то делают дело. А те презирали бездельников. Много песен у каждого было в запасе. Я на камне рубежном сидел и ожидал конца, чтоб наградить лучшего певца. Но вдруг чей-то голос раздался над самым ухом моим:

– Разбойник! Наконец-то! Объяснишь ли ты мне, что ты делал в продолжение девяти часов на пути из Б<е>врона в Беян. Бездельник, болван. Горе мне, горе! Когда б ты вернулся, если б я тебя не поймала? Ну, живет домой. Мой обед сгорел.

Я сказал:

– Награда досталась тебе. А вы не трудитесь, друзья.

Она знает такие песни... Не придумаешь лучше, хоть тресни. Моя похвала тщеславие в ней разожгла. Нас угостила она еще кое-чем. И воскликнул я:

– Славно! А теперь воротимся домой. Иди вперед. Я за тобой.

\* \* \*

Она шла, держа за руку Глашу, и шагали за ней мои оба помощника. Я, покорный, но неторопливый, собирался последовать, как вдруг ко мне ветер донес ликующий гул голосов в верхнем городе, восклицанья рожков да перезвоны веселые на башне святого Мартына, и я, словно старый охотничий пес, стал обнюхивать воздух в предчувствии новой картины. Вот что было: с господином д'Амази сочеталась девица Лукреция де Шампо, дочь сборщика пода-тей. Все бросаются опрометью и бегут в гору сломя голову к площади замковой, чтобы успеть увидеть вход шествия в церковь. Поверьте, что я не замешкался. Находка ведь редкая. Одни только праздношатаи Треска, Фита и Гадюка не сообразовали отлепиться от моста, объяснив, что унижительно было бы для них, жителей предместья, ходить в гости к представителям городского сословия. Конечно, мне гордость нравится, и самолюбие – прекрасное качество. Но жертвовать ему удовольствием своим – благодарю. Проявление этой любви напоминает мне того попа-наставника, который в детстве драл меня: это-де ради твоего же блага.

Хоть я и проглотил залпом сорокаведерную лестницу, ведущую к св. Мартыну, я достиг площади (увы) слишком поздно. Свадьба уже вошла. Оставалось (и это было совершенно необходимо) ждать выхода ее, но проклятые попы никогда не устают слушать свои голоса. Мне стало скучно. Я с большим трудом, сразу вспотев, протиснулся в церковь, осторожно сдвигая брюшки, – добродушные и мясистые подушки; но тут же у паперти меня плотно окутал пуховик человеческий, и я очутился словно в теплой, мягкой постели. Не будь я в святом месте, у меня, признаюсь, появились бы некоторые резвые мысли. Но все в свое время. Иногда следует хранить вид степенный. Это мне так же хорошо удается, как ослу. Невзначай показывается кончик длинного уха, а порой осел даже кричит.

Так и теперь случилось: пока я, набожный и скромный, глядел разинув рот (чтоб лучше видеть) на радостное приношение в жертву целомудренной Лукреции, четыре охотничьих рога св. Губерта, перебивая церковную службу, заиграли в честь охотника; недоставало только своры. Весьма мы о ней пожалели. Я задушил смех; но, естественно, не мог удержаться, чтобы (тихохонько) не просвистеть фанфару. Когда же настал роковой миг, и невеста на вопрос любопытного попа отвечала «да», и трубачи, молодцевато раздув щеки, возвестили затраву, я уже не стерпел и крикнул:

– Ура!

Хохотали бы до утра. Да вошел привратник, не суля мне добра. Я свернулся в комок и, скользя вдоль чужого бедра, выкатился. Очутился я на площади. Там не ощущалось недостатка в обществе. Все это были люди хорошие, умеющие пользоваться глазами, чтобы видеть, ушами – чтоб впитывать, что поймали чужие глаза, языком – чтобы рассказывать то, о чем можно говорить и не видел.

Вовсю я развернулся... Искусно врать можно и не придя издалека. Время прошло быстро, для меня по крайней мере, – и вот под звуки органа распахнулись церковные двери. Появились охотники. Впереди, счастливый и гордый, выступал д'Амази, под руку с добычей своей, которая, как лань, поворачивала туда и сюда свои глаза прекрасные. Не хотел бы я быть охранителем этой красавицы. Будет немало хлопот тому, кто ее увезет. Кто зверя берет, берет и рога. Но я только мельком видал охотника и добычу, закольщика и заколотую. И я бы не мог описать даже (кроме как для хвастовства) одежду удачника и наряд новобрачной. Дело в том, что в этот же миг наше внимание было отвлечено важным вопросом: в каком порядке должны выступать остальные участники шествия?

Мне говорили, что уже, когда входили они (ах, зачем я там не был), стряпчий кастелянства, он же судья, и шеффен<sup>47</sup>, мэр «ex officio»<sup>48</sup>, как два барана, <с>цепились на самом пороге. Но толще, сильнее был мэр, и досталось ему первенство. Теперь же решить мы старались, кто же выйдет первый, кто первый появится на священной паперти? Гадали, спорили. Но не выходил никто. Словно разрубленная змея, передняя часть шествия продолжала свой путь; задняя же – не следовала. Наконец, приблизившись к церкви, мы увидели внутри, слева и справа, у самых дверей наших двух разъяренных зверей, друг другу путь преграждающих. Так как в храме святом кричать они оба не смели, то шевелили губами и носом, выпучивали глаза, выгибали спину по-кошачьи, морщили лоб, тяжело дышали, щеки надували; и все это – безгласно. Мы помирали со смеху. И смеясь и гадая, мы приняли тоже участие. Пожилые стояли за судью, представителя герцога (кто сам уваженья требует, тот всем его проповедует); а юнцы-петушки стояли за мэра, боевого блюстителя наших свобод. Я же был на стороне того, которому больше попадет. И мы кричали каждый своему любимцу:

– Ну-ка, ну-ка, откуси-ка ему гребешок, валяй, проучи гордеца! Ну пошел, пошел, старый осел!

Но эти два глупца только и делали, что выплевывали ярость свою, а не вступали в рукопашную, вероятно, из боязни испортить одежды праздничные. При этих условиях спор бы длился до бесконечности (можно было не опасаться, что иссякнет их красноречие), но пришел на помощь поп, не желающий опаздывать к ужину. Он сказал:

– Мои милые дети, слышит вас Бог, ждет вас пирог; никогда не нужно забывать об ужине. Никогда не нужно досаду свою обнаруживать перед Господом, да еще в храме его. Разберемся мы дома.

Если он этого и не сказал (я ничего не слышал), то, вероятно, смысл был таков: я видел, как его толстые лапы, обхватив головы спорщиков, слили их рыла в поцелуй мира. После чего они одновременно вышли – словно два равных столпа, обрамляющих брюхо попа. Вместо одного главара – целых три. Ничего не теряет народ, когда ссорятся главари.

\* \* \*

Все они прошли, все возвратились в замок, где приготовлен был ужин заслуженный; а мы, дураки, ротозеи, продолжали стоять на площади вокруг невидимого котла, будто чувствуя запах вкусного. Чтобы наслаждаться, полней называли мы блюда. Нас было трое лако-

---

<sup>47</sup> В средневековой Германии член судебной коллегии, определявший наказание вместе с судьей.

<sup>48</sup> По должности (лат.).

мок – Кишка, Б<a>лдахин и Персик, ваш покорный слуга. Мы смеясь переглядывались при каждом выкликаемом кушанье да локтем друг друга подталкивали. Одобряли это, порицали то: можно было бы и лучше выбрать при содействии людей опытных; но все же мы избегли и школьных ошибок, и греха смертного; и в общем обед вышел на славу. Когда дело дошло до одного жаркого из зайца, каждый из нас объяснил свой способ приготовления; высказались и слушатели. Но тут вспыхнул спор (это вопросы жгучие; только черствые люди могут обсуждать их хладнокровно). Особенно был он оживлен между госпожой Периной и госпожой Попкой, которые обе готовят праздничные обеды в городе. Они соперницы. Каждая имеет своих сторонников, и за столом одна сторона пытается затмить другую. Великолепные схватки! В наших городах хорошие обеды – те же бои на копьях.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.